

Предисловие:

Гасан Гусейнов

Фаддей Зелинский

ПСИХОЛОГИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО МИФА

РШ *Классика лекций*

Классика лекций

Фаддей Зелинский

**Психология
древнегреческого мифа**

«Издательство АСТ»

УДК 291-053.2
ББК 82.3(О)

Зелинский Ф. Ф.

Психология древнегреческого мифа / Ф. Ф. Зелинский —
«Издательство АСТ», — (Классика лекций)

ISBN 978-5-17-110464-1

Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.

УДК 291-053.2

ББК 82.3(О)

ISBN 978-5-17-110464-1

© Зелинский Ф. Ф.
© Издательство АСТ

Содержание

«Мрамор, дорашенный гипсом»	6
«...И ты стоскуешься по белым храмам и душистым рощам...»	10
Сказочная древность	20
Предисловие (к Выпуску 1)	20
Глава I. Кадм и Кадмиды	24
1. Кадм и Гармония	24
2. Дионис	26
3. Антиопа	28
4. Ниобея	30
5. Дельфы	32
6. Золотой. Овен	34
7. Левкофея	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Фаддей Зелинский
Психология древнегреческого мифа

© Гасан Гусейнов, текст
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

«Мрамор, дорощенный гипсом»

Когда тридцать лет назад в ныне не существующем издательстве «Московский рабочий» готовилось первое издание этой книги, о Фаддее Францевиче Зелинском было писать намного легче, чем теперь. Тогда еще не вышла его автобиография, написанная по-немецки на основе дневниковых записей, и последний дневник 1939–1944 годов. Внезапно свалившаяся на россиян свобода слова позволила говорить обо всех, но вздохнул. Мы пользовались этой свободой по-разному, хотели сказать только то, что тогда казалось главным.

А что было главным тогда в биографии знаменитого филолога-классика, немецкого ученого и поляка, русского поэта-переводчика и консервативного мыслителя? Вот это самое и казалось главным – множественная идентичность. Лучшие свои научные работы он написал по-немецки, лучшие переводы и вещи просветительские – по-русски. Счастье, немного тщеславное, стать одним из основателей свободного – свободного и от Российской империи, и от Германского рейха – Варшавского университета оборвалось в 1939 году, когда Польша снова была растерзана, и уже престарелый ученый уехал на склоне дней к сыну Феликсу, в Баварию.

Но составителю этой книги неожиданно повезло, и этим невероятным везением я и должен поделиться с читателем. Вскоре после выхода книги Зелинского о древнегреческой мифологии я оказался в том самом городе, где наш автор провел свои студенческие и аспирантские годы – 70–80-е годы девятнадцатого столетия. Век спустя в эти же десятилетия XX века студентом был и я. А еще полвека спустя, в десятые годы XXI века, уже мои студенты едут в Германию, чтобы провести там – кто семестр, а кто и год, а некоторые – даже и целую молодую жизнь. Моему-то поколению этот опыт был заказан: из советских студентов только единицы выпускали учиться за границу: в 1970–1980-е гг. это делали только для того, чтобы оправдать отправку в иностранные университеты детей больших начальников. Но времена изменились, и тут выяснилось, что без опыта молодого Зелинского, еще и не помышлявшего о сочинении книг о греческой мифологии для послереволюционного раннесоветского юношества, мы мало что поймем в его позднем порыве написать книгу, которую сейчас предстоит раскрыть читателю.

Если ты, читатель, хочешь потратить несколько минут своего времени на личное знакомство с молодым Фаддеем Зелинским, сделай это прямо сейчас. Биографический очерк 1993 года мы решили оставить как есть, а я расскажу только о своих встречах с Зелинским в Лейпциге.

Первая встреча – была, конечно, за книгой. Зелинский рассказал, как он сходил с немецкими, польскими, русскими студентами и профессорами в Германии. До чего же этот опыт был похож на мой и – десятилетия спустя! – моих студентов. Его принимают с восторгом – как талантливого студента и докторанта. Но вот юный Тадеуш / Фаддей выслушивает от немецкого однокашника суждение о собственном имени.

– Правда, что ли, «Тадеуш»? Слушай, у нас в деревне человек с таким именем сразу повесился бы!

Никогда не оказаться вполне своим ни в России, ни в Германии, ни в Польше – горько. Своему материнскому языку он научится вполне только несколько десятилетий спустя, а пока, в Лейпциге 1870-х–1880-х годов его главные языки – немецкий, латынь и русский. Как русский подданный польского происхождения с полируемым до блеска немецким языком, Зелинский не только готовился к университетской стезе в России, но и впитывал дух корпорации в университетских Лейпциге и Мюнхене.

Тридцать лет спустя, после возвращения в Россию из многолетней стажировки в Германии, Греции и Италии, он напишет некролог безвременно умершему Иннокентию Анненскому, переводчику Еврипида – райской птице тогдашней русской поэзии. До конца жизни

Зелинскому будет не хватать Анненского, третьего великого переводчика аттических трагиков: переводом Эсхила прославился Вячеслав Иванов, переводом Еврипида – Анненский, переводом Софокла – сам Ф.Ф.

Была и злая ирония в том, что Зелинский переводил Софокла – со-основателя учения Зигмунда Фрейда об устройстве человеческой психеи. Внебрачные дети Зелинского, которые призваны были улучшить человеческую породу, либо погибли страшной смертью на взлете (как Адриан Иванович (на самом деле – Фаддеевич-Пиотровский), либо промучились весь свой век в Советской России и в нацистской Германии.

В конце 1980-х по-русски никак нельзя было еще писать о Зелинском как о ницшеанце. Еще бы: Ницше был тогда в официальной советской идеологии чуть ли не предтечей фашизма. Как бы несправедливо это ни было. Но если учесть, что Зелинский с интересом и даже поначалу не без симпатии «за возрождение традиции» относился, по крайней мере, до прихода нацистов к власти в Германии, к культурной политике Муссолини, то понятно, что круг ницшеанских идей полагалось убирать из текстов о возрождении античности в духе Зелинского.

Его (и Вячеслава Иванова) Ницше, нужно признать, не так безобиден, как можно было подумать в годы юности и зрелости обоих мистагогов. Идея человека как всего лишь моста между массовидным зверем и богопообным сверхчеловеком уже тогда воспринималась критическими философами как аристократический миф с самыми тяжкими последствиями его укоренения в тоталитарной Европе. Но в истолковании Зелинского это была, скорее, мечта о культурном человеке-филантропе. Теперь мы знаем, что «сверхчеловек» Ницше не только не предтеча нацистского человекозверя, в чем, к несчастью, убедила нацистских бонз сестра страдальца – недоброй памяти Элизабет, а, может быть, самое яркое синтетическое художественное воплощение двух революций рубежа XIX–XX веков – революции общественной и революции в представлении о душе. Зелинский находил человеческое измерение науки и образования в регулярных встречах с лейпцигскими коллегами в пивных этого чудесного города.

Те, что упомянуты в автобиографии Зелинского, мне довелось обойти сто тридцать лет спустя, в конце 2000-х годов, с сотрудниками Лейпцигского университета – моей женой Мариной и нашими друзьями – Гертой и Винфридом Эберхардами, Ларсом Карлом, Кристиной Гельц, Арнольдом Бартетцким, Мадлен Бентин.

Особенно один эпизод врезался в память Зелинского. Уже приняв изрядную дозу пива – особого сорта «Гёзе», название которого восходит, по мнению Ф.Ф., к имени речки, протекающей через город Гослар, Зелинский и его товарищи повздорили с хозяином заведения, который не желал впускать их в подпитии и даже вызвал полицейских. Те составили протокол, изъяв до суда русский паспорт Зелинского. Процесс, однако, привел к оправданию нашего студюзуса, и тот смог покинуть Саксонское королевство как свободный храбрый человек. От той пивной, в которой Зелинский с товарищами скромно кутили в конце 1870-х годов, остался только павильон во внутреннем дворике доходного дома, выстроенного уже в конце XIX века и недавно отреставрированного как уютный биргартен. Пивная эта и сейчас знаменита на весь Лейпциг под названием «Gosenschenke – Ohne Bedenken». Как бы это перевел Зелинский – «Куда ж еще? В пивную Гозе!»

Несколько десятилетий спустя, признается Зелинский, он вздрагивал, когда в анкетах ему надо было отвечать на вопрос, была ли судимость, а ему приходилось, конечно, писать, что не было.

Почему он пишет об этом, таком незначительном, эпизоде так подробно? Потому, наверное, что это была его молодость. Но, глядя на коллег по немецкому университету, я бы сказал, что главная причина – в другом. Ученая и преподавательская жизнь в живом университете немислима без таких вот совместных трапез и возлияний. Где с пивом, а где и с вином, как в Италии. Традиция той самой свободы, которую принесли грекам Дионис, а европейцам –

Фридрих Ницше. Да, этой традицией надо уметь пользоваться. Ведь главное, все-таки, не сама традиция, а то, что каждое следующее поколение рождает для общего блага.

Но это легко сказать, а как сделать? Зелинский, даже и предупредив читателя, что будет опираться на трагический, иначе говоря, понятый через драму, а значит, и через психологию личности, миф, ни слова не скажет о языке, которым эта книга будет написана. А ведь в ней есть, как минимум, два тогда еще совсем новых речевых пласта, столкновение с которыми было для старика-профессора сильнейшим испытанием. А вот мимо нас с вами, возможно, пройдет незамеченным. Первый пласт – обычная малограмотность. Книга Зелинского адресована людям, почти безнадежно выброшенным с орбиты привычного для него образовательного процесса. Куда? Непонятно! Но это, во всяком случае, будут люди, которые не знают некоторых правил русской грамматики для грамотных. Например, всюду, где так называемая культивированная речь требует писать и говорить «тот», «та», «того» (например, «Зевс сказал Прометею, что тому не следует надеяться на прощение»), Зелинский нарочито упрощает («Зевс сказал Прометею, что ему не следует надеяться на прощение»). Сегодняшний читатель, пожалуй, и не заметит подвоха.

Но есть и куда крутейшие примеры.

«Пенелопа сказала, – пишет Зелинский, – что должна соткать саван для старого свекра Лаэрта. Она днем ткала, а ночью разбирала тканое; но однажды, вследствие предательства прислужницы, ее накрыли за этой ночной работой, и ей пришлось поневоле назначить им срок».

Словечко «накрыли» вошло в лексикон Зелинского из того живого раннесоветского бластного жаргона, знания которого никто требовать еще не мог, но тогда, как и сегодня, молодой читатель легко проглотит всю конструкцию.

Разминувшийся с Зелинским во времени выдающийся польский поэт Збигнев Херберт (1924–1998) писал: «Один из смертных грехов современной культуры – то, что она малодушно избегает фронтального столкновения с высшими ценностями. А также дерзкая убежденность в том, что мы можем обойтись без образцов (как эстетических, так и нравственных), ибо наше положение в мире исключительно и ни с чем не сравнимо. Именно поэтому мы отвергаем помощь традиции, бредем в наше одиночество, роемся в темных закутках покинутой душеньки.

Существует ошибочный взгляд, будто традиция – это нечто подобное унаследованному имуществу и что ее наследуют механически, без усилия, поэтому те, кто выступает против наследования и незаслуженных привилегий, выступают против традиции. А между тем каждый контакт с прошлым, по сути дела, требует усилия, труда, при этом он нелегок и неблагодарен, ибо наше малое «я» верещит и защищается от него.

Я всегда желал, чтобы меня не оставляла вера в то, что великие произведения духа объективней, чем мы. И они будут нас судить. Кто-то правильно сказал, что не только мы читаем Гомера, смотрим фрески Джотто, слушаем Моцарта, но Гомер, Джотто и Моцарт приглядываются, прислушиваются к нам и констатируют нашу суетность и глупость. Бедные утописты, дебютанты в истории, поджигатели музеев, ликвидаторы прошлого подобны тем безумцам, которые уничтожают произведения искусства, так как не могут им простить покоя, достоинства и холодного сияния» (перевод Наталии Горбаневской).

Здесь Херберт прямо цитирует Зелинского, писавшего за полвека до него о традиции, которая может быть мертвечиной, а может – силой возрождения. Зелинскому эта сила была дана, к сожалению, только для внутреннего пользования. Свои мемуары в годы второй мировой войны он писал на немецком языке 1880-х годов, а книгу для русского юношества, написанную в годы гражданской, на языке, который был уже чуть-чуть задет советским веком.

Русский поэт нашего времени, ушедший от нас так же безвременно, как Иннокентий Анненский в 1911, а Адриан Пиотровский в 1938, Виктор Кривулин (1944–2001) напишет в середине 1990-х стихотворение «Русское возрождение».

воскрешая, Бог неистов
то разрушил то отстроит
павильоны эллинистов
в целлулоидных пластронах
целую пожрали вечность
ан пока еще не сыты!
и на что я с ними встречусь
подле статуи разбитой
Мира? анненский зелинский
жебелев или варнеке
поминальные записки
о Всемирном Человеке
вот он есть самоубийствен
и болезненно-веществен
мрамор дорашенный гипсом
до предела в совершенстве

(1994)

Что это за «павильон эллинистов», теперь предстоит выяснить самому читателю.

«...И ты стоскуешься по белым храмам и душистым рощам...»

О жизни и книгах Фаддея Францевича Зелинского

«Когда совершилось грехопадение ангелов и дерзновенный замысел понес заслуженную кару, то двое из падших – то были Ориенций и Окциденций, – будучи менее виновны, были признаны достойными пощады. Они не были отвержены навеки; им было дозволено искупить свой грех тяжелым подвигом с тем, чтобы по его исполнению вернуться в небесную обитель. Подвиг же состоял в том, чтобы пройти пешком, с посохом в руке, путь во много миллионов миль. Когда этот приговор был им объявлен, то старший из них, Ориенций, взмолился к Творцу и сказал: «Господи, окажи мне еще одну милость: дай, чтобы мой путь был прям и ровен, чтобы никакие доли и горы не затрудняли меня и чтобы я видел перед собою конечную цель, к которой направляюсь!» – «Твоя просьба будет исполнена», – сказал ему Творец; затем, обратясь к другому, спросил его: «А ты, Окциденций, ничего не желаешь?» Тот ответил: «Нет, ничего». С тем их и отпустили. Тут мрак забвения их окутал; когда они пришли в себя, они очутились каждый на том месте, с которого им следовало начать свое странствие.

Ориенций встал и оглянулся: недалеко от него лежал посох, кругом тянулась, точно сонное море, необозримая, плоская и гладкая равнина, над ней – голубое небо, беспредельное и однообразно-безоблачное; только в одном месте, далеко, на самом краю горизонта, светилась белая заря. Он понял, что это и есть то место, куда ему должно направлять свои шаги; схватил посох, пошел вперед, постранствовал день-другой, затем опять оглянулся кругом, – ему показалось, что расстояние, отделявшее его от цели, не уменьшилось ни на шаг, что он все еще стоит на том же месте, что его окружает все та же необозримая равнина, что и раньше. «Нет, – сказал он уныло, – этого расстояния мне не пройти». С этими словами он бросил посох, опустился безнадежно на землю и заснул. Заснул он надолго – вплоть до наших дней.

В одно время со старшим братом проснулся и Окциденций. Встал, оглянулся – за ним море, перед ним овраг, за оврагом лесок, за леском – холмик, на холмике точно белая заря горит. «Только-то! – воскликнул он весело. – Да там я до вечера буду!» Схватил лежавший у его ног посох, отправился в путь: действительно, вершины холмика он достиг еще до вечера, но там он увидел, что ошибался. Это ему только издали так показалось, что заря горит на холмике, на самом же деле на нем ничего не было, кроме нескольких яблонь, плодами которых он утолил голод и жажду; а по ту сторону был спуск, внизу текла речка, за речкой подымалась горка, а на горке сияла все та же белая заря. «Ну что же, – сказал Окциденций, – отдохну, а затем в путь; дня через два буду там, и тогда – прямо в рай». Опять расчет оказался верным, только рая он опять не нашел: за горкой была новая широкая долина, за долиной более высокая гора, вершину которой венчало сияние знакомой зари. Конечно, наш странник почувствовал некоторую досаду, но ненадолго: гора неотразимо манила к себе, там-то уж наверно были ворота в рай. И так все дальше и дальше, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, век за веком; надежда сменяется разочарованием, из разочарования вырастает новая надежда. Он шествует и поныне, овраги, реки, скалы, непроходимые болота затрудняют его путь; много раз он заблуждался, теряя путеводное сияние, совершал обходы, возвращался назад, пока ему не удавалось вновь заметить отблеска возжеленной зари. И теперь он бодро, со своим верным посохом в руке, взбирается на высокую гору; имя ей – «социальный вопрос». Гора крутая и утесистая, много ему приходится преодолевать промоины и чащ, отвесных стен и пропастей, но он не отчаивается; он видит перед собою сияние зари и твердо уверен, что стоит ему добраться до вершины – и ворота рая откроются перед ним».

Эта притча о деятельном Западе (имя ангела Окциденция значит по-русски «Закатный», «Западный») и созерцательном Востоке (Ориенций – «Восходящий», «Восточный») была сочинена Фаддеем Францевичем Зелинским в самом начале нашего, двадцатого столетия. Тогда, в 1903 году, он был уже, по понятиям того времени, пожилым – 45 лет! – и весьма знаменитым человеком. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. XII, СПб., 1894), сообщающем, впрочем, и о куда менее заметных личностях, о нем было сказано: «...филолог. Родился в 1859 г. близ Киева. Образование получил в русской филологической семинарии при Лейпцигском университете (добавим, что еще прежде окончил немецкую гимназию св. Анны в Петербурге. – Г. Г.). Получив в 1880 г. степень доктора философии за диссертацию «Последние годы второй Пунической войны», Зелинский работал в Мюнхене и Вене и пробыл в Италии и Греции около 2 лет. Больше всего Зелинский занимался исследованием древнегреческой комедии, которой посвящены его работы на русском, немецком и латинском языках (вторую диссертацию – о греческой комедии – он защитил в 1883 г. в Дорпате, ныне – Тарту, а с 1885 г. стал профессором Санкт-Петербургского университета. – Г. Г.). Ему принадлежат также издания «Царя Эдипа» Софокла и Ливия с русскими примечаниями...»

Уже через десять лет тот же М. Ростовцев, что писал о Зелинском для XII тома Брокгауза – Ефрона (а в недалеком будущем станет одним из крупнейших историков нашего века), посвящает Фаддею Францевичу уже весьма значительную статью. «Научная деятельность Зелинского за последние 10 лет весьма обширна и разнообразна. Интерес его, – пишет Ростовцев, – сосредоточился главным образом на следующих областях филологического знания: 1) Цицерон и его роль в мировой культуре. Наиболее крупные работы его в этой области – «...» перевод речей Цицерона, «Цицерон в истории европейской культуры» («Вестник Европы», 1896, февраль), «Цицерон в череде веков» (на немецком языке. – Г. Г.). «Уголовный процесс 20 веков назад» («Право», 1901, № 7 и 8). 2) Гомеровский вопрос. Особенно здесь ценны: «Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады» (в этой работе Зелинский впервые показал, что одновременные события древний поэт изображает как последовательные. – Г. Г.). «...» 3) История религий: «Рим и его религия» («Вестник Европы», 1903), «Раннее христианство и римская философия» («Вопросы философии и психологии», 1903). «...» 4) История идей и история античной культуры. Большая часть главным образом популярных статей в этой области объединена в сборнике «Из жизни идей» (т. 1, СПб., 1905). «...» 5) Психология языка. «...» 6) Сравнительная история литературы. Ряд введений к переводам произведений Шиллера, Шекспира, и Байрона. «...» 7) В связи с реформой нашей средней школы стоят доклады Зелинского, напечатанные в «Трудах комиссии по вопросу об улучшении средней школы»: «Образовательное значение античности» (т. VI) и «О внешкольном образовании» (т. VII)...»

Читатель, взявший в руки эту книгу, готовый погрузиться на время в чуждый и манящий, навсегда исчезнувший да и прежде существовавший только в ночных фантазиях мир, едва ли удостоит даже улыбки кандидовский тон либерала из прошлого века: завеса безмерно трагического для человечества, для каждого народа и, быть может, для каждой семьи XX столетия искажает до карикатуры и «бодрость», и «верный посох», и саму физиономию альпиниста Окциденция...

Многие мудрые старики оптимисты XIX столетия заслужили и снисходительные насмешки, и презрение, и проклятия из уст несчастных обитателей века двадцатого. Мы захотели разговора с теми, кого сейчас почитают милыми и хоть бесполезноучеными, зато настоящими носителями культуры, а немного лет тому назад по пасквилянтскому науцению классика зачисляли в «человеки в футляре»: на беду, чеховский Беликов оказался гимназическим учителем древних языков.

Незадолго до революции 1905 года За торжеством «готтентотской морали» <?>. Живя поверхностной исторической жизнью, человечество не выдерживает испытания на прочность, «на разрыв»: здесь не до истины, здесь и самые цивилизованные народы готовы на целые поко-

ления оторваться от глубинных общих корней, от нерасторжимых сплетений, тесно связывающих каждого с каждым.

В чем же эта глубина исторической жизни народов? Для Зелинского это отнюдь не праздный вопрос: он живет в предчувствии мировых катаклизмов и хочет сделать все, что до наступления этих катаклизмов может успеть человек культуры.

А перед таким человеком – всегда выбор, в основе которого – понимание того, что же такое культура. Если она – пустоцветение, поверхностное убранство жизни, прихоть племенной воли, значит, удел человека – разместить свой ум и душу между откровенным цинизмом и простодушным гедонизмом. Зелинский понимает культуру иначе. Она – воплощение переживаний «большого я», подчинение животного инстинкта (в том числе – безотчетной тяги к «своему» в ущерб «чужому») духовным ценностям человечества, поскольку оно ищет смысл своего появления во вселенной, ибо твердо верит, что этот высший смысл существует. Зелинский далек от вульгарного уподобления культуры труду земледельца – с его непрременной «корчевкой», «прополкой» и «селекцией»: люди очень дорого заплатили за эту простую аналогию.

«Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дует роковой для нас юго-западный ветер: волны совершенно явственно направлены на восток; кажется, что река вспять потекла, обратно к Ладожскому озеру – и тем не менее вы знаете, что каждая капля этого озера в силу незримого, но очень реального естественного течения реки попадет в Финский залив и что единственным результатом того встречного течения, вызванного ветром, будет кратковременное наводнение в Галерной гавани. То же самое и в обществе и общественном мнении: и в нем вы имеете не одно течение, а два. Одно – это то, в котором оно отдает себе отчет, бурное, крикливое, капризное, производящее всякого рода наводнения и другие бедствия; другое – то, существования которого оно не подозревает, – тихое, безмолвное и повелительное. Два течения – или, если хотите, две души, два я».

Малое «я» культуры – это мир национальной ограниченности. Малое «я» культуры – это доктринерский монолог отшельника, самовлюбленного гордеца. Большое «я» – разговор «гражданина мира». У каждого европейца, по мысли Зелинского, по меньшей мере – «две родины: одна – это страна, по имени которой мы называем себя, другая – это античность». «Культурная история каждого из новых народов была маленьким ручейком до тех пор, пока в нее не влилась широкая река античности, принеся с собою все идеи, которыми наш ум живет в настоящее время, с христианством включительно... То, что спланивает воедино европейские народы, несмотря на их не только национальное, но и племенное (имеется в виду расовое. – Г. Г.) различие, – это их одинаковое происхождение от античности» («Из жизни идей», с. 77–78).

Кто-нибудь скажет, что это слишком решительное утверждение, что не все в европейской культуре сводится к античным корням. Но попробуем вслушаться в аргументы Зелинского. Страшное испытание Европы «на разрыв» было впереди, а он легко и задолго почувствовал угрозу – и только благодаря тому, что всю свою жизнь посвятил изучению общей античной родины, которую вовсе не он один называл «основанием единства европейской цивилизации».

В чем же суть «общей античной родины»? Почему изучать античность значит становиться европейцем?

«Что было, то прошло!» – гласит мудрость варвара. «Что было, то есть», – от прошлого не отделаться – не только от дел и событий, изменивших природный ландшафт или политические границы, – но и от слов, кем-то когда-то произнесенных. Поэтому понимание того, что было, это понимание того, что есть. История – не только греческое слово, но и античное понятие.

Оно усложнилось, обросло со временем мякотью новых приемов и радужными покровами новых событий, но ядро осталось старое – греческое. «Истина – око истории», – говорил Полибий. Семя исторической правдивости, может быть, и в античности не всегда давало всходы. Но без античного историзма европейская цивилизация блуждала бы в зарослях «готтентотской морали».

Философия – другое греческое слово, лежащее в основании европейской цивилизации. В поисках «семени, которое заключает в себе античная философия», Зелинский формулирует его как «переубедимость»: ты должен признать самое неприятное для тебя положение, раз оно доказано; ты должен отказаться от самого дорогого тебе убеждения, раз оно опровергнуто, – вот кодекс чести мыслителя. (...) А потому – опровергай, доказывай, но не жалуйся, не зло-словь, не приходи в азарт. «Древний мир был (чтобы употребить удачное выражение Вл. Соловьева) не однодум, а многодум...» Не монолог – а диалог, то есть, по-русски, раз-говор, – вот условие раскрепощения ума от косного самолюбования и склонного к преступлениям хитроумия: античная философия и есть эта школа раз-ума, в которой неизменным условием силы разума остается терпимость к чужому уму да и к своим и чужим «страстям и внушениям». Зелинский далек от безоглядной веры в «человека разумного». «Прежние добрые и злые духи вновь стали управлять людьми под именем страстей и внушений», – констатирует он. Но тут же добавляет: «развивающемуся еще человеку полезно признавать силу разума, даже если бы в последующей жизни ему пришлось узнать, что не разум и убеждение, а страсть и похоть управляют его средой».

Литература – все оттенки ее социального статуса и все основные литературные формы, само искусство порождать и воспринимать тексты, различие поэзии и прозы, устройство книги и библиотеки, – сколько бы ни было тут нововведений (включая и такое неантичное изобретение, как печатный станок Гутенберга!), этот столп европейской цивилизации зиждется на античной базе.

Список этот легко продолжить: здесь будет и религия, и мораль, и право, и политика, – все те элементы европейской цивилизации, забвение античного опыта хотя бы в одном из которых приводит к тяжелейшим потрясениям весь мир, и притом не только европейский.

Один важнейший элемент античного наследия внушает Зелинскому самую серьезную тревогу. Этот элемент – школа. Схолё – досуг по-гречески; время, свободное от всяких полезных дел, от забот о пропитании, о младших братьях и сестрах или о стариках, свободное от игр и всяких иных удовольствий. Это – время усвоения в массе своей совершенно бесполезного знания. С бессмысленной гимназической зубрежкой накануне первой мировой войны было с успехом покончено в большинстве средних учебных заведений даже очень цивилизованных стран. Берегитесь, увещевал коллег по народному просвещению Зелинский, бесполезные знания древних авторов и языков – не так бесполезны, как кажется. Да, школьная античность трудна, но эта трудность – особого рода.

Ее заметный итог – эрудиция, способность бегло говорить и читать на разных языках и на различные темы – скрывает от человека малообразованного, – которому только и остается кичиться своей практичностью и богатым жизненным опытом, – вещь гораздо более важную, хотя и не бросающуюся в глаза. Речь идет об особом устройстве, которое незаметно вырабатывается в уме школьника всем опытом освоения античности и в конце концов делает его весьма своеобразным собственником: он овладевает своими умственными способностями, его интеллект становится инструментом в руках мастера. Ясное дело, способности у людей разные. Инструмент может оказаться не особенно совершенным, мастер – без искры божьей. Но ведь задача школьной античности в постижении тех приемов мысли и слова, с помощью которых обыкновенный средний человек на протяжении столетий строил европейскую цивилизацию. Что же это за приемы?

Дело в том, что античная цивилизация, имевшая, как и другие, начало, середину и конец, не просто предлагает свой опыт всем любопытным детям других эпох. Античный мир на протяжении всей своей истории вырабатывал инструменты самопознания, пригодные для описания человеческих и социальных отношений любой степени сложности. Эти инструменты многообразны, но материал, из которого они созданы, – один и всем доступен: слово. В устах историка, философа, поэта общезначимые слова работают всякий раз по своей, как теперь

бы сказали, программе. Общезначимое, всем понятное («Мы говорим на одном языке») прорастает со всей отчетливостью благодаря контрасту с сугубо личным, неповторимым опытом частного человека – философа, историка, поэта. Чем более мои знания совпадают по объему и качеству с тем, что несут в своих сундучках с надписью «школьная античность» мои сверстники, тем легче объясниться мне с людьми моего поколения, тем легче вникнуть в тонкости чужих воззрений, точно определить расхождения в мнениях. Отсюда внешний парадокс трудной школы: зубрежка одних и тех же греческих и латинских правил и исключений, чтение и разбор – веками! – одних и тех же произведений древних авторов, усвоение дат, событий, исторических лиц «чужой» истории оказываются наилучшей процедурой для пробуждения и оформления самостоятельно мыслящего человека, свободного, насколько это возможно, от стереотипов толпы, не уступающего пошлой демагогии ее вождей, всегда точно и удобопонятно выражающего свои мысли. Непосвященному этот особый школьный труд кажется бессмысленным. Непосвященный даже согласится с вами на всякий случай в том, что античность «полезна для общего развития», но будет сильно озадачен, услышав, что это общее развитие должно по необходимости предшествовать всякому образованию.

Никто не станет спорить, нужно ли учить немецкий язык, чтобы читать по-немецки, а между тем большинство людей с усердием ученой птицы рассуждают о том, что такое история, поэзия или философия, не дав себе прежде труда понять (а это значит – вкусить или интимно воспринять) источник этих многосмысленных слов, этих миров духа, не дав себе труда войти в породившую эти смыслы культурную среду: так судят о водопадах прослушавшие магнитофонную запись шума воды.

«Варвар удивляется, – писал Гегель, – когда узнает, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: он думает, что могло бы быть и иначе». Варвар не верит, что «без труда не вынешь рыбку из пруда». Он уже почти уверен, что на самом-то деле все обстоит как раз наоборот. Как же объяснить ему, что для ответа на вопрос, что такое история, надобно сначала узнать, что такое «греческая история», т. е. история в собственном смысле; а для ответа на вопрос, что такое философия, нельзя не начать с изучения греческой философии или опять-таки философии как таковой, философии в собственном смысле. И касается это всего без изъятия круга гуманитарного знания (кстати сказать, и понятия «гуманитарного» и «круга знания» – античного происхождения).

Но стоит только сановному невежде пробить брешь в этом круге, стоит лишить школу школьной античности, под видом «приближения школы к жизни» вышвырнуть из нее сначала древние языки, потом античную историю и философию, – и превратить ее в общедоступное всеобщее среднее образование, – дело сделано европейская культурная традиция подорвана. Сперва поколения внутри одной страны, а потом и целые народы начинают говорить на разных языках, и – повторяется история вавилонского столпотворения.

Кому-то такая связь – от упадка классического образования к деградации общества – может показаться грубой и, если угодно, глуповатой схемой. На фоне грандиозных катаклизмов начала нашего столетия судьба школьной античности – это одно из многих печальных следствий разрушения традиционных социальных связей и, очевидно, – не самое катастрофическое следствие. Да и в самом деле, не на разных ли планетах – окопные вши и спряжение греческих глаголов?

Но, может быть, Ф. Ф. Зелинский был все-таки не совсем не прав, когда в 1903 году, в лекциях перед учениками выпускных классов петербургских гимназий и реальных училищ, предлагал взглянуть на упадок школьной античности как на ярчайший симптом грядущей социальной катастрофы. «Что будет, – спрашивает Зелинский, – когда легкость курса и обеспеченность диплома послужат лишней приманкой?.. Одно средство – соответственно повысить школьную плату, т. е. упрочить и узаконить имущественный ценз, самый вредный и подлый из всех, дав ему в довершение подлости прикрываться маской ценза образовательного. Другое сред-

ство – строгий вступительный экзамен, т. е. перенесение борьбы и неудачничества из школьного возраста в детский, причем вопреки природе и наперекор разуму, за трудным до изнурения детством последует легкое отрочество. Нет, конечно: ни то, ни другое средство не годится, а будет применено третье, тем более что оно имеет у нас очень прочный исторический и бытовой фундамент: это средство – протекция или взятка. Это будет тоже своего рода подбор, но уже не подбор естественный, т. е. ведущий к совершенствованию, а коррупционный, ведущий к вырождению. Впрочем, – добавляет Ф. Ф., – долго ему торжествовать не придется: ... пример XVIII века по Франции знаменателен: если привилегированный класс вздумает упразднить или облегчить ту сумму труда, которая одна только и оправдывает его привилегии, то он будет сметен революцией. Ради Бога, не требуйте и не вводите легкой школы; легкая школа – это социальное преступление... Легкая школа – это школа для барчуков, какое-то нелепое и оскорбительное возрождение крепостного права на капиталистической подкладке...»

Итак, трудная школа для Окциденция. Читателю уже впору начать зевать над заклинаниями университетского профессора перед выпускниками гимназий и реальных училищ начала века – перед теми, кого Зелинский называл «офицерами армии труда». Что ж с того, что все пророчества его сбылись? Да мало ли было сбывшихся пророчеств, и отнюдь не менее мрачных!

Тогда, в 1903 году, к словам Зелинского не прислушался никто. Несвоевременные мысли европейца, сколь бы разумны они ни были, прозвучали в стране, поставленной «историей как раз на грани между Востоком и Западом, в единственной из стран европейской культуры, где оспаривался прогресс и его необходимость, оспаривался закон подбора (теперь чаще называемый законом естественного отбора. – Г. Г.) и его цель, оспаривалась трудовая система общественной организации, оспаривались науки и искусства; где на тревожный вопрос: «Да ведь это ведет к вырождению, к вымиранию!» – следовал спокойно-величавый ответ: «Так что же? И будем вырождаться и вымирать!» Физиономия казенной системы, маскирующейся под национальную культурную традицию, хорошо знакома... Но Зелинский обращался к другой России.

«У нас в России, – говорит он гимназистам и реалистам, – общество всегда было особенно чутко к нравственным вопросам и запросам; у нас его сознание менее стеснено традиционными рамками, более рвется на простор, от условного и преходящего к действительному, природному, вечному. У нас поэтому и интерес к античности должен бы быть сильнее, чем где бы то ни было...»

Весь вопрос, стало быть, в том, кто поведет дело народного образования – демагог-уравнитель или трезвый просветитель. Через античность – к «большому я» европейской культуры: как бы ни был прямолинеен этот взгляд на гуманитарное образование, а тем самым и на формирование господствующего устроения образованного общества, в эпоху социального кризиса, подобного тому, что переживала Россия в начале нашего столетия, именно его проповедники оказывались хранителями и мировой и национальной культурной традиции – там, где их заставляли «минуты роковые».

В России начала века такими людьми были коллеги Ф. Ф. Зелинского и великие поэты Вячеслав Иванович Иванов и Иннокентий Федорович Анненский. Анненский сделал своим для нескольких поколений русских читателей XX века Еврипида, Вячеслав Иванов – Эсхила, Зелинский старался сделать своим Софокла. Для всех троих классическая филология была не формой эскапизма, не личным духовным убежищем, но школой мысли, наставницей чувства. Анненский и Иванов были, может быть, в несколько большей степени ориентированы на взрослого читателя и слушателя. Зелинский больше думал о молодых и совсем молодых читателях.

Перечитывая сегодня статьи Зелинского, написанные до начала первой мировой войны, понимаешь, как торопился он противопоставить идеям национальной ограниченности, в конечном счете заговорившим в Европе языком иприта и дредноутов, идею общего отечества. Методы его могут показаться кому-то смешными и не заслуживающими подражания, но впо-

следствии во многих странах они получили второе рождение. После завершения учебного года Зелинский собирал своих учеников и отправлялся с ними – не в музей – к своему истоку, к «смеющемуся морю», как называл его Эсхил, к Архипелагу...

В 1910 году поездом до Одессы, оттуда – пароходом до Пирея отправилась группа молодых людей, предводительствуемая почтенным профессором. Сорок пять лет спустя один из сорока участников этой поездки, известный польский филолог Стефан Сребрны, вспоминая о ней, сообщает, что под крылом Зелинского был там и знаменитый уже режиссер Всеволод Мейерхольд. Что могло привлечь артиста, бросившего дерзкий вызов академическому искусству, к проповеднику классической школы? Довольно одного: Зелинский вез своих питомцев не к чуждаемым руинам, но к родному очагу. Здесь даже слово «питомцы» обрело свой натуральный смысл, и только последний тупица не уразумел бы, что «узнать» значит «вспомнить». Учитель возвращал души своих учеников к их детским мечтам и пока еще худосочному школьному предзнанию придавал и полноту, и окончательную оформленность хорошо обожженной керамики. Надо только напрячь память... Там гневный Ахилл с замиранием сердца смотрит, как в искупление нанесенной ему обиды плавают корабли его народа; там царственный старец Приам, чтобы выкупить труп сына, смиренно целует руку его убийцы; там многострадальный странник Одиссей под ласкою богини тоскует по своей далекой родине; там бодрый Ясон созывает товарищей для чудесного плавания в золотую Колхиду; там верный Орфей нисходит в обитель смерти, чтобы выпросить у царицы теней свою Евридику; там гордая праведница Антигона ценою жизни покупает свое право исполнить долг любви к умершему брату; там кроткая Ифигения добровольно принимает смерть ради славы своего отца; там ревнивая Медея в исступлении мести убивает своих детей; там каменное подобие благословенной некогда Ниобеи плачет над своим разрушенным счастьем...

А там на широкой спине божественного быка возлежит Европа, давшая имя материку. Для Зелинского идея Европы – общего дома имела особое значение. Едва ли не лучшую и до сих пор не утратившую своего значения научную работу – «Цицерон в череде столетий» – он написал на немецком языке; молодые годы и литературно-педагогический дар отдал России, а с 1921 года возглавил кафедру классической филологии Варшавского университета. Пропасть – политическая, моральная, культурная, – разделявшая три его отечества – отечества души, ума и тела – Россию, Германию и Польшу, – пожирала людей. «Ультранационалистическое убожество», как называл состояние толпы Зелинский, засасывало целые народы и не оставляло европейцу шансов быть услышанным.

Учитель возвращал души только очень немногих учеников к их детским мечтам. Когда, переполненные – не впечатлениями – новым знанием себя и своей духовной родины, они возвращались в 1910 году третьим классом в Петербург, обмениваясь мыслями о поездке, кто-то сказал: «Как мы ни молоды, а есть среди нас самый младший – Зелинский» («Meander», 1959, XIV, 8–9. С. 403–404)... Прекрасное время быстро клонилось к закату. Сначала первая мировая война, потом – революция и разруха войны гражданской не могли не остановить спокойное течение профессорской жизни.

Притча про «азиата» Ориенция и «европейца» Окциденция с прихотливостью, которую ни с чем в природе не сравнить, воплощалась в действительности. Путник, идущий на крутой подъем, появляется у Зелинского и в другом месте – там, где он говорит о средневековых ученых, которые понимали, что очень скоро – за перевалом новой исторической эпохи, – никто уже не вспомнит, что же осталось там, позади, и это на них возложена высочайшая миссия – упаковать в узлы и короба хоть что-нибудь, пусть только то, что сегодня, сейчас кажется самым важным, – собрать в узлы и дотащить до перевала. Оттуда в долину новой эпохи весь этот веками копившийся культурно-исторический скарб снесут уже новые поколения.

Сколь бы схематичной ни была эта модель, сколь бы поверхностны ни были средневековые «Антологии» («Цветники», «Изборники») по сравнению с не дошедшими до нас по боль-

шей части подлинниками, первоисточниками, однако ведь без таких посредников, осознающих свое предназначение, свою роль малого звена в цепи поколений, человечество дичало бы гораздо быстрее, чем это происходит теперь.

И Зелинский, благополучный ученик великого Отто Риббека, благополучно защитивший свои диссертации в старом Лейпциге и старом Дорпате, вот уже тридцать лет профессорствующий в Санкт-Петербурге, Зелинский встретил революцию, разруху и разорение империи как испытание на прочность нового поколения посредников.

Гимназический «человек в футляре» бывает хорош уже тем, что не загоняет в футляр окружающих. Новый человек, освобожденный от груза традиции, с неизбежностью придет к тому, чтоб заключить в темницу весь мир, и кончит самоуничтожением. Вот этот-то большой и большой «социальный вопрос» заставил Зелинского развернуть просветительскую программу, частью которой стали книги о греческой мифологии.

Для петербургских (петроградских) издательств – «Огни», братьев Сабашниковых – он готовит целую серию книг, читает лекции не только в университете, но и на Высших женских курсах. В 1918 году вместе с Блоком, Ремизовым, Сологубом, Ахматовой, Ходасевичем, Эйхенбаумом участвует в организации Петроградского Дома литераторов – клуба взаимопомощи на Бассейной, просуществовавшего до 1922 года, когда Зелинский переехал и жил в Варшаве, заведя кафедрой классической филологии в университете. А тем временем книги, задуманные еще в 10-х годах, продолжали выходить в Петрограде.

Ничтожный тираж – от 2500 до 4000 экземпляров, – скверная бумага не останавливали издателей. Наоборот, именно в эти годы экономических трудностей самые выдающиеся деятели культуры иногда – из последних сил – пытались остановить распад оглушенной под руинами прогнившей империи цивилизации по имени «Россия». Зелинский, Вяч. Иванов и более молодые, как, например, Владислав Ходасевич, были при всей своей поэтической неотмирности слишком реалисты, чтобы надеяться на успех своего просветительства. «Мы прорубали, – писал в берлинской эмиграции Ходасевич, – окно – не в Европу – на кухню». Но и в это прорубленное на кухню окно можно и нужно показать людям не искаженную вечным ужасом гримасу дикаря, но первые шаги и первообразы европейской культуры. Иначе говоря, и окно на кухню может стать окном в Европу. На оберточной бумаге, к концу столетия побуревшей и рассыпающейся в труху, – рисунки Энмана и Конашевича: книга побывала в руках у многих уже тогда, в 20-е годы.

Это книги о позабытом, книги – напоминания о таком далеком прошлом, что требовать документов грешно.

... У афинского царя Эрехфея была дочь Орифия. Ее, наследницу южного царства, полюбил бог северного ветра – Борей.

«– Мое царство – необъятная северная страна студеных рек и дремучих лесов. Разбухают реки в дни многоводной весны, широко заливают окружающие поля; но еще шире и выше захлестывает великая скорбь, беспомощное уныние сердца моего несчастного народа... Орифия, при родителе твоего отца твой земляк Триптолем, питомец Деметры, принес нам дар хлеба, и с тех пор и у нас колышутся зеленые нивы; но духовного хлеба еще не знает наша холодная страна; его принесешь нам ты, мой нежный цветок, взлелеянный дыханием теплых морей.

Если я вам нужна, я последую за тобой...

Орифия, наш невежественный, несчастный народ не знает того, что свято для вас. Я зову тебя к нему, но не хочу тебя обманывать: холодно в нашей стране, и ты стоскуешься по белым храмам и душистым рощам, по теплоте и улыбке твоей Эллады! Я принесу с собой и теплоту, и улыбку; это будет моим венком твоему народу. Если я вам нужна, я последую за тобой.

Орифия, я не могу тебе обещать даже благодарности от тех, которых ты облагодетельствуешь. Помни, мой народ знал и знает только подъем злобы и взаимоубийственной вражды,

от которой он еще больше нищает; он не знает подъема радости и подъема любви. И я уверен, свою злобу он направит и против тебя и твоей науки, науки радости и любви; способна ты перенести это высшее, крайнее испытание?

Мой рок – давать, а не брать. Я готова на подвиг жертвы для твоего народа; готова любить, не быть любимой и все-таки любить...»

Царица Вьюг уже накрыла своим пологом Россию, а спустя полтора десятка лет – и всю Европу. Родина души – Россия, и родина тела – Польша, и родина ума – Германия лежат под плитой бесчеловечных режимов, растерзаны войной. Оставшийся в Петрограде внебрачный сын Зелинского Адриан Пиотровский, унаследовавший от отца талант переводчика и театрального виртуоза, ставший в 30-х годах выдающимся деятелем советского кино и перенявший от отца огонь просветительства (его Аристофан, Катулл, Эсхил были изданы тогда по-русски и по сей день не превзойденными по качеству и объему комментариями), был уничтожен в 1938 году в ленинградской тюрьме. Варшавский университет, с 1921 года ставший новым домом Зелинского, был через двадцать лет уничтожен Гитлером. И хотя, публикуя в Страсбурге последнюю увиденную им в печати работу, Зелинский подписал ее по-французски – «Гадеуш Зелинский, Варшавский университет», он понимал, что не может противостоять направленной против него злобе. Он пытается продолжать работу над историей античной религии, но злоба века преследует его: в 1943 году умирает дочь Вероника, Зелинский перебирается к сыну в Баварию. Верил ли он и здесь в свое европейское отечество, проживший, чтоб испытать судьбу Иова, жизнь «самого младшего», он, подаривший своим родным детям жизнь на муку и так мечтавший подарить целому миру «хоть частицу той радости», какую испытывал сам, когда напоминал людям об их общем античном доме?

До последних дней жизни, прерванной в мае 1944 года, Зелинский все расспрашивал друзей о судьбе коллег по университету, но, видимо, не успел узнать, что многие – и в том числе самые близкие – погибли в Варшавском гетто. Только письма и книги пережили этих людей.

Может быть, придуманный Зелинским Окциденций все-таки «шествует и поныне»? Может быть, судьба нескольких экземпляров книги о греческих мифах хоть позабавила Фаддея Францевича, узнай он о ней в тяжелые дни 1942–1943 годов.

Окциденций брел тогда по Кавказу... Ведомые им, уходили из Пятигорска, от немецкого десанта, толпы и толпы людей. И были среди них недавние блокадники – ленинградцы. А среди этих последних было несколько учеников и молодых сотрудников Адриана Пиотровского, за пять лет до того погибшего в тюрьме. Ученики и сотрудники уже научились на горьком опыте не называть и дорогого им имени. Но они не забывали ни имен, ни того, чему учили их те, кто носил эти имена. Они шли пешком не один десяток километров по горной дороге. У обочины они наблюдали иногда странную картину: кто-то из путников вдруг останавливался, бросал какую-нибудь свою вещь и подбирал брошенное другими – теми, кто ушел вперед, ибо не мог дальше тащить свой скарб. Но очень скоро и те, кто совершил удачный обмен с обочиной, бросали на землю вещи и шли дальше налегке. Чем ближе было к перевалу, тем лучше, добротнее, новее были оставленные у обочины саквояжи, сундучки и чемоданы. И только помнившие историю про Окциденция ничего не выбрасывали и ничего не подбирали. Весь путь они проделали с котомкой за плечами, а в котомке среди насущнейших были там три вещи – три книги Ф. Ф. Зелинского «Иресиона. Аттические сказки» – «Терем Зари», «Каменная нива», «Царица Вьюг». Купленные за бесценок на пятигорском базаре, они показались хозяину котомки нужнее слишком многого другого, чтоб здесь хватило места для перечисления. Не потому ли, что посох Окциденция поддержал тогда путника, не к европейскому ли отечеству шли тогда читатели Зелинского, убегая от озверевших арийцев к гостеприимным арыкам азиатов?

Как бы то ни было, но книги Фаддея Францевича Зелинского не все пропали. То тут, то там и сегодня кое-что вдруг мелькнет на день в букинистическом магазине, но близок день, когда истлеют последние сохранившиеся книжки. Чтобы не случилось этого, мы решили

собрать под одной обложкой то, что выходило разрозненными выпусками в начале 20-х годов. Столь полного, столь проникнутого единством замысла – он объяснен самим автором в его предисловии – и стиля, он очарует одних и вызовет благотворное раздражение у других, – столь глубоко уводящего к тем истокам европейской культурной традиции, где воды ее еще кажутся вполне прозрачными, столь наивного верой в добро и красоту труда, повторяющего за греками их заветные и сокровенные предания, может быть, никогда прежде не появлялось на русском языке.

Гасан Гусейнов

Сказочная древность

Предисловие (к Выпуску 1)

Если вам, мой дорогой читатель, еще не исполнилось... скажем не в обиду вам, четырнадцати лет, то не утруждайте себя чтением этого предисловия: пусть его вместо вас прочтут ваши родители или воспитатели. Вам же лично имею дать только один совет. Вероятно, вы пожелаете читать рассказы моей книги подряд; и это будет очень хорошо. Думаю, что в ее первой части – «Сказочная древность» – дело обойдется без затруднений. Но уже со второй – «Историческая Эллада» – может случиться, что тот или другой рассказ вас с первой страницы не заинтересует; тогда бросьте его и перейдите к следующему. Пропущенное теперь успеете наверстать впоследствии; книга вам дана, надеюсь, не на один год.

А теперь обращаюсь к тем, со стороны которых я жду и желаю критического отношения к моему труду. Чем он оправдывает себя? Новизною замысла? – Не совсем. Книги, посвященные популярному изложению античности, у нас имеются – правда, переводные. И этим подсказано одно из соображений, оправдывающих появление этой книги. Но я все же не так уже скромнен: полагаю, что даже у тех народов, с языка которых переведены означенные изложения, моя книга приобрела бы право на существование. Постараюсь объяснить.

Тут, правда, первая часть, озаглавленная «Сказочная древность», занимает особое положение. В популярных пересказах греческой мифологии на Западе недостатка нет, а некоторые из них переведены и по-русски... Полагаю, однако, что читатель, знакомый с тем или другим из них, при сравнении их с моим найдет много различий – и с удивлением спросит себя, откуда они могли взяться при изложении одной и той же материи. Для ответа я должен объяснить ему, как возникла та совокупность преданий, которую мы называем «греческой мифологией».

Первыми, закрепившими в слове, и притом стихотворном, имеющиеся в сознании народа предания о героях, были творцы героического эпоса, певцы-гомериды; результатом их работы было целое море эпической поэзии, более сотни книг. Из них нам сохранилось только два эпоса, Илиада и Одиссея – правда, лучших, но довольно ограниченных содержанием; все остальное погибло. – За этой первой школой появилась вторая, школа творцов дидактического эпоса; эти люди, тоже певцы, задались целью приурочить предания гомеридов, а также и иные, к отдельным героям, поставленным между собою в генеалогическую связь, в видах обнаружения правды о прошлом правящих родов в тогдашней аристократической Греции. Из этих эпосов, сухих, но содержательных, нам не сохранилось ни одного, если не считать «Феогонии» Гесиода, посвященной генеалогии не столько героев, сколько богов. – Эту вторую школу эпиков-дидактиков сменили в VII–VI вв. лирические поэты, любившие обрабатывать в своих песнях, прославлявших богов и людей, родные мифы, видоизменяя их отчасти под влиянием новых религиозно-нравственных воззрений; из этой литературы, очень обильной, нам сохранились только оды Пиндара и Вакхилида. – Четвертую обработку мифов дали преимущественно в V в. драматические поэты, обращавшиеся однако со своими сюжетами с творческой самостоятельностью; из их творений, коих насчитывалось много сотен, нам сохранилось всего 33 трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида. – Одновременно с ними работали над мифами, в-пятых, и первые историки-генеалоги, среди которых выдавался Ферекид; их целью было привести все мифы в историческую систему, причем неизбежно было и некоторое к ним критическое (ввиду множества вариантов), но не творческое отношение. Их работы до нас не дошли. – С III в. начинается, в-шестых, деятельность александрийских ученых, притом двойная: с одной стороны, поэтически одаренные ученые, вроде Каллимаха или Аполлония Родосского, собирают преимущественно малоизвестные предания для поэтической обработки, с другой – так назы-

ваемые киклографы, компилируя и поэтическую и прозаическую литературу прошлого, пересказывают по циклам (отсюда их имя) с приведением вариантов все попавшие в нее мифы. Ни те, ни другие (кроме Аполлония) нами не сохранены, но о поэтических трудах александрийцев нам дает понятие их талантливый римский подражатель Овидий в его знаменитых «Превращениях», а о киклографах – краткое руководство так называемого Аполлодора. – Наконец, в седьмую группу мы выделяем всех эпигонов, живших в обеих половинах империи около и по Р. Х., очень различных категорий; тут и последыши эпоса вроде Стация с его «Фиваидой», и Квинт Смирнский с его троянским эпосом, и трагедии Сенеки, и прозаические фрагменты, как самостоятельные, так и попавшие в комментарии к древним авторам. Это по достоинству наименее ценная категория; но зато она в значительной мере нам сохранена.

Как видит читатель, «греческая мифология», поскольку она сохранилась нам, не представляет собою однородного целого; в древности она развивалась на протяжении столетий, то же, что дошло до нас, – материал случайный, отдельные части которого принадлежат различным эпохам жизни общего дерева. Каково же по отношению к нему положение современного пересказчика? Возьмем Шваба, одного из лучших: он берет, понятно, то, что ему дано в готовом виде: историю Кадма по Овидию, Аргонатов по Аполлонию, Геракла сначала по Аполлодору, а конец по Софоклу, Троянскую войну, насколько можно, по Гомеру, а далее по Квинту Смирнскому и т. д. В результате – полное отсутствие композиционного и идейного единства, и если тем не менее отдельные мифы в его изложении нравятся, то этим они обязаны только своей собственной, исконной, не заглушённой позднейшими наслоениями красотой и жизненности.

Но как же быть? – Ответим сначала на вопрос: как бы мы поступили, если бы мы были так же богаты, как мы бедны, то есть если бы сокровищница греческой мифологии была нами сохранена вся: какой слой избрали бы мы для своей обработки? Ответ несомненен: если не считать Гомера, перед которым почтительно остановились позднейшие, то мы пересказали бы нашему юношеству греческие мифы в том виде, который они получили в аттической трагедии, преимущественно у трех ее корифеев, Эсхила, Софокла и Еврипида: трагедия – самое яркое претворение греческой мифологии, расцвет ее жизни в сознании ее народа. – Да, если бы она была сохранена вся; но, к сожалению, нам сохранилась лишь приблизительно ее десятая часть, остальное погибло. – Погибло, да не совсем: следы погибшего остались и в литературной и в изобразительной традиции, и по этим следам его можно в значительной степени восстановить. Но, конечно, для этой подготовительной работы надо быть филологом-исследователем; у Шваба и других для нее данных не было. Занимались ею для отдельных трагедий многие; для всего наследия трех корифеев только двое: Велькер да я. В III томе моего Софокла и в VI отредактированного мною Еврипида Анненского (когда этот том, давно в рукописи, законченный, наконец появится), читатель найдет результаты этого восстановления по отдельным трагедиям; это – основание для настоящего пересказа.

Итак, моей задачей было представить греческую мифологию в том виде, какой она получила в греческой трагедии (о Гомере я уже оговорился); это – первое, что отличает мой пересказ от пересказа моих предшественников. Пусть читатель сравнит мои рассказы о «золотом овне» и «Левкофее» («Фрикс» и «Инб» Еврипида) или об «ожерелье Гармонии» («Алкмеон» Софокла) с соответствующими рассказами у Шваба и др., и он поймет, в чем тут разница. Но это еще не все. Каждая трагедия сама по себе должна обладать композиционным и идейным единством; но совокупность трагедий даже одного и того же драматурга этим единством обладать не обязана. Когда Еврипид писал свою «Ипсипилу» – он не чувствовал себя связанным не только мифопеей своих предшественников, но и своей собственной классической «Медеей». Он не писал цикла; но таковой писал я. Требования циклического единства, композиционного и идейного, не обязательные для Еврипида, были обязательны для меня. Проклятье «ожерелья Гармонии», проявившее себя в «Алкмеоне» Софокла, восходит к убиению змея Кадмом; но

кто повествовал только об этом убийстве как об отдельном мифе, тот не имел надобности его касаться, и мы этого мотива проклятия, не находим не только в овидиевом, но и трагическом повествовании о Кадме. Прекрасна повесть о гибели Геракла («Нессов плащ»); но она несоединима с борющимся и торжествующим Гераклом цикла двенадцати подвигов. Певец Илиады вплоть до XXII песни («Смерть Гектора») имеет в виду дальнейшее сражение Ахилла с троянами и его гибель от стрелы Париса у Скейских ворот; но вот явился гений – творец XXIV песни («Приам в ставке Ахилла») и внес в весь миф новую идею. После такой величавой сцены примирения только какой-нибудь бесталанный Квинт мог отправить Ахилла в новый бой с ратью Приама; продолжением XXIV песни могло быть только величавое искупление, то есть догомеровская помолвка Ахилла с дочерью Приама, возобновленная Софоклом. Это только образчики; сошлюсь еще на грандиозную идею «великого примирения», воплощенную Эсхилом в его «Освобожденном Прометее» и тяготеющую над Гераклом двенадцати подвигов и над смыслом Троянской войны; на гибель Ясона, предсказанную «Медеей» Еврипида, и др.

При таком положении дел я имел перед собой только два исхода: либо разрешить себе скромную долю объединяющего в духе трагической идеи творчества, либо отказаться от задачи. Долгое время я сам считал для себя неизбежным второй исход; случайное обстоятельство навело меня на первый. Мне пришлось провести два месяца 1921 года (апрель – май) по гигиеническим причинам в доме отдыха при здешнем Доме ученых, ими я воспользовался и написал всю свою «Сказочную старину», не имея никаких пособий, кроме взятого как подспорье для памяти Аполлодора.

Между сказочной ночью мифов и дневным светом истории рок поместил утренние сумерки исторической легенды; они охватывают греческую историю примерно до персидских войн и римскую примерно до Пирра. Как быть с ними? – Вот тут второе мое расхождение с моими предшественниками.

Наивная эпоха новейшей историографии добродушно пересказывала легенду наравне с историей, Геродота и Ливия наравне с Фукидидом и Саллюстием.

За ней явилась критическая эпоха; легенда была забракована, в лучшем случае из нее было извлекаемо «историческое ядро», но чаще она вся была отправляема в небытие и заменяема умозаключениями и домыслами. Апогеем этой критической работы были переведенные и по-русски труды Пельмана (греческая история) и Низе (римская история); здесь история ранних времен утоплена в источниковедении, а источниковедение в новейшей литературе о нем. Теперь на очереди третья эпоха – критика критики; она, между прочим, и моя.

Было время, когда издатель древнего писателя бережно относился к своему тексту, доверчиво воспроизводя, где только возможно, рукописную традицию. Затем настала и здесь критическая эпоха, в разгаре которой рукописная традиция признавалась едва ли не принципиально извращенной и годящейся только в подкладку для домыслов новейших исправителей: Отто Ян доставил себе – дорого, впрочем, стоившее ему – удовольствие собрать все придуманные критиками «исправления», к тексту «Электры» Софокла. Результат был ужасающий: не оказалось почти ни одного стиха, который не потонул бы в «конъектурах» новейшей критики. Это была параллель к Пельману и Низе – превзойденная, впрочем, впоследствии Веклейном, Бледсом и другими.

Но тут Господь сотворил чудо. Вскрылись египетские могилы; из них вышли на свет папирусные тексты античных авторов, на тысячу лет с лишком древнее нашей рукописной традиции. Забилось сердце у критиков: подтвердят ли они их конъектуры? Нет, они их немилосердно забраковали и оправдали оклеветанную рукописную традицию. И теперь тексты древних авторов издаются уже под знаком критики критики: понятия «современный» и «консервативный» сблизались.

Этим преуказано и отношение здравого смысла к исторической легенде. Конечно, на этой почве чуда ожидать нельзя: события не воскресают, подобно текстам, и мало надежды,

чтобы какому-нибудь мудрому йоге удалось прочесть в астральном пространстве «аказическую запись» о них. Но ведь критический радикализм обуславливается не только характером повествования, но и известным болезненным приспособлением воспринимающего ума. А после полученного на текстах урока есть надежда, что мы от этой болезненности исцелимся.

Значит ли это, что мы поверим в историчность гибели царя Кандавла? Нет, это значит только, что я не поверю в историчность тех новейших домыслов, которыми ее хотели заменить – это и есть «критика критики». А во-вторых – если я пересказываю легенду в сознании, что она – легенда, то я отношусь к ней не менее, а более критично, чем те, которые извлекают из нее мнимоисторическое ядро. А в-третьих – раз кончится то болезненное приспособление, то само собою вернется доверие к целому ряду исторических повествований, которые до сих пор объявлялись легендарными.

Но все это не главное: главное вот что. Созданная греками и римлянами историческая легенда обладает одним незаменимым качеством: она – художественно-прекрасна. Ее отправление в небытие – преступление перед юношеством. Я считаю себя счастливым, что мог прочесть легенду о мессенских войнах в своем школьном учебнике много раньше, чем прочел ее у Павсания. Мои дети по милости критической школы были лишены этого счастья; желаю, чтобы хоть мои внуки могли им вновь обладать. Полагаю, что именно мне безопаснее потрудиться в этом направлении, чем многим другим, так как меня вряд ли кто упрекнет в «некритическом» отношении к делу.

Итак, я веду своих юных читателей от таинственной ночи мифов через сумерки легенд к ясному дню истории: это, думается мне, порядок органический, соответствующий органическому развитию их собственной души с ее изменяющимися потребностями. Это – одна особенность моих рассказов, не скажу, чтобы принципиально новая. Новизна заключается в ином: кое-где – в выборе и сцеплении вариантов; кое-где – во введении культурно-исторических подробностей; везде, надеюсь, в изложении. Другая особенность – это вкрапление между историческими рассказами культурно-исторических. Их порядок обуславливался хронологией, и я вполне отдаю себе отчет в том, что те или иные из них будут слишком трудны для начинающих. Это я и имел в виду, давая своим юным читателям прочитанный ими в начале этого предисловия совет.

Большой недостаток этой книги, именно как книги для юношества – это отсутствие иллюстраций; я рассчитывал на них, когда ее замысел впервые во мне зародился: ландшафты, памятники, исторические и жанровые картины, все в ней должно было найти место. Переживаемые невзгоды заставили на время отказаться от осуществления этой идеи; будем надеяться, что не на очень долго.

Кончаю пожеланием, чтобы на читателей этой книги перешла хоть часть той радости, которую я испытывал при ее составлении.

Петроград, октябрь 1921 г. Ф. Зелинский

Глава I. Кадм и Кадмиды

1. Кадм и Гармония

Жил был в далекой Финикии могучий царь по имени Агенор; было у него трое молодых сыновей и красавица дочь, Европа. Случилось однажды, что царевна с подругами играла на приморском лугу. Время было весеннее, весь луг пестрел от всевозможных цветов. Вдруг видят девушки – к ним подходит бык – белый, красивый. Они сначала перепугались: а ну забодает! Но он и не думал бодаться: смотрел на них ласково, вилял хвостом и то и дело приседал. «Смотрите, – сказала одна, – он как будто приглашает нас сесть на него и прокатиться». – «А почему бы и не сесть?» – ответила Европа. – «Ну что ж, садись, коль ты смела!» Жутко стало царевне, но и отлынивать было стыдно; села и ухватила за рога. А быку, видно, этого и хотелось; он понес ее по берегу так тихо и бережно, что у нее весь страх прошел. Несет он ее туда, сюда, то взад, то вперед, и при этом незаметно все ближе к морю; смеются девушки, смеется и царевна. И вдруг как бросится с нею в море – вскрикнула она, вскрикнули девушки, да было поздно; он плывет, она прижимается к нему, чтобы не упасть, и все кричит, кричит. Но помочь ей уже никто не мог. Смотрят девушки плача, пока он не исчез среди волн; а потом, убитые горем, вернулись во дворец.

Куда он ее завез, это вы узнаете из другого рассказа; царь же, узнав о похищении дочери, призвал к себе старшего сына, Кадма, и сказал ему: «Возьми корабль и товарищей и поезжай за море отыскивать сестру; найдешь – останешься моим наследником, а без сестры не возвращайся: не будет тебе в Финикии ни царства, ни жителя!»

Кадм набрал товарищей, сел на корабль и пошел странствовать по белу свету. Плывет он вдоль Сирии, Малой Азии, по островам Архипелага, везде спрашивает про сестру – и все напрасно. Высадился наконец в Греции. Тут ему говорят: «Есть в середине нашей страны высокая гора; имя ей – Парнас. В горе со стороны моря глубокая расселина; живет в ней вещий исполин-змей, Пифон. И расселина, и змей принадлежат самой великой Матери-Земле. Подойди к расселине, не бойся змея; спроси громко, где твоя сестра. Если тебе суждено это узнать, то здесь и узнаешь».

Царевич так и поступил; но вместо ответа о сестре он услышал следующее: «Как встретишься с коровой, иди за ней; где она ляжет, там и оставайся». Оглянулся Кадм – а корова уже тут, словно ждала его. Пошел он за ней – товарищи за ним. Идут долго; наконец корова легла. «Что же, – думает Кадм, – домой мне все равно возврата нет; пропадай мой корабль, пропадай и царство; и впрямь останусь здесь. Страна хорошая, плодородная; а вот и холм, где можно укрепиться. И говорит он товарищам, что им предстоит оставаться здесь, и посылает из них наряд за питьевой водой.

Идут товарищи, смотрят кругом, где бы найти чистой, проточной воды – в знойной Греции это редкость. Вдруг видят – глубокая пещера; из нее течет хорошая ключевая вода. Но они не знали, что в пещере жил чудовищный, огнедышащий змей; едва подошли они – как он прынул, кого поглотил, кого огнем опалил, кого хвостом зашиб – ни одного не оставил живым.

Ждет Кадм, ждет – и посылает второй наряд; не вернулись и эти. За ним третий и последний; но и он пропал. И решил Кадм отправиться сам, но уже не за водой, а за товарищами. Идет он в том же направлении; слышит – кто-то зовет его по имени. Что за диво? Смотрит – под деревом девушка сидит. Верно, думает, местная нимфа. Подымает приветственно правую руку. «Будь милостива, – говорит, – могучая! Зачем зовешь меня?» А была это не нимфа, а сама Паллада-Афина, любимая дочь Зевса, высшего бога, владыки небес. Призвав царевича,

она сказала ему и про судьбу его товарищей, и про то, что ему самому надлежит сделать; и он решил во всем ее послушаться.

Змей тотчас, почуяв новую добычу, выполз из пещеры. Но она ему не досталась так легко: Кадм был и могуч, и вооружен, и предупрежден. Он сразился со змеем и нанес ему своим копьём смертельную рану; змей, извиваясь, пополз обратно в свою пещеру. Последовал за ним туда и Кадм. Жутко там было: точно чьи-то вздохи раздаются из глубины, точно что-то золотое сверкает под пастью чудовища. Но Кадм в точности исполнил приказание богини: не обращая пока внимания ни на то, ни на другое, он прежде всего выломал зубы у змея и вернулся под открытое небо. Облюбовав подходящую лужайку, он провел своим копьём две-три борозды по мягкой почве и опустил в них выломанные зубы. Вскоре почва стала пухнуть, вздуться – и медленно, медленно из образовавшихся бугров выросла рать, грозная, вся закованная в медные латы. Достигши ногами поверхности, она удивленно начала озираться кругом, пока не заметила Кадма, внимательно следившего за всем происходящим. Заметив его, ратники все, как один человек, бросились на него; но Кадм, ждавший этой минуты, ловко бросил в середину толпы заранее припасенный тяжелый камень. Камень угодил в голову одному из ратников; тот, думая, что его ушиб его сосед, уложил его ударом меча. За убитого вступился третий, и началась общая свалка; о Кадме забыли. Один падал от руки другого, под конец их осталось только пять. Им Кадм крикнул: «Чем драться друг с другом, будем товарищами. Мне Мать-Земля велела основаться здесь; вы, сыны Матери-Земли, помогите мне!» Витязи согласились; дали друг другу руку и решили созвать поселян ближайших мест и основать город на холме.

Теперь, заручившись помощью новых товарищей, Кадм вернулся в пещеру змея; перешагнув через его недвижимое тело, он направился в самую ее глубину. Там в полумраке сидела и убивалась дева неопикуемой красоты. Увидев Кадма, она вскочила на ноги: «Кто ты, витязь, освободивший меня от власти змея?» Кадм назвал себя. «А ты, дева, кто такая будешь?» – «Я, – сказала дева, – бессмертная богиня; отец мой – Арес, бог войны и раздоров, а мать – Афродита, богиня красоты и любви; зовут меня Гармонией». – «Я – смертный, – сказал Кадм, – но если правда, что я освободил тебя, то будь мне женой!» – «Мой брак, – сказала дева, – в руках моих родителей; дай мне к ним вернуться. И они вдвоем вышли из пещеры. Проходя мимо змея, Кадм опять заметил что-то золотое, сверкавшее под его пастью; но он не решился спросить Гармонию, что это такое.

И не успели они выйти из пещеры, как случилось новое чудо выше всяких чудес. Небесная твердь разверзлась, исполинская лестница спустилась на землю, и по ней стали сходить небожители. Впереди всех владыка Зевс с Герой, своей божественной супругой; за ними Посидон, их брат, с Амфитритой; Деметра, богиня плодородия, со своей дочерью Корой; Гефест, искусный бог-кузнец, Паллада-Афина и много других; они окружали Ареса и Афродиту, родителей освобожденной Гармонии. «Слава тебе, Кадм, – сказал Зевс, – своим подвигом ты стяжал себе прекраснейшую невесту в мире; мы все пришли отпраздновать твою свадьбу». Вмиг появились столы, покрытые чудесными яствами; пригласили и тех пятерых, которые уцелели в братоубийственной свалке. Девять Муз, богини песнопения, и три Хариты, богини изящества, спели свадебную песнь счастливой чете; весело отпраздновали свадьбу, а когда она кончилась, все отвели молодых в брачный терем, который для них воздвиг Гефест.

И Кадм основал город на вершине холма и назвал его Кадмеей; страна же от коровы, за которой следовал витязь – по-гречески *bus* – получила имя Беотии. С Гармонией он жил в любви и совете и прижил от нее четырех дочерей, Семелу, Агаву, Автоною и Инбу, и сына Полидора. Его товарищи женились почти все на местных нимфах и тоже стали отцами семей; их потомков звали «спартами», что значит «посеянные». И все были бы счастливы до конца, если бы не то золото, которое Кадм увидел сверкающим под пастью змея.

2. Дионис

Прошло около двадцати лет; и вот однажды Кадм, перебирая с женой воспоминания прошлого, рассказал ей про ту диковину, которую он увидел сверкающей под пастью змея. Золото тогда еще было неизвестно у смертных, и Гармония тотчас потребовала от мужа, чтобы он ей его принес.

Отправился Кадм после многих лет снова к забытой пещере. Ему живо вспомнился тот день, когда он впервые посетил ее – день, положивший основание его счастью. Вот он поравнялся и с деревом, под которым тогда сидела ласковая нимфа. Но что это? Она опять под ним сидит и опять его кличет, только таким грустным, озабоченным голосом. «Вернись, Кадм! – говорит она ему. – Не ходи в пещеру змея, не трогай его золота! На что оно тебе? Мать-Земля добра к вам, она рождает вам все плоды, в которых вы нуждаетесь. А золото она скрыла для себя и ревниво бережет его в своей заповедной глубине. Оставь это сокровище змею, отродью Земли: оно проклято его последним дыханием и внесет несчастье в твой дом!»

Кадм призадумайся: он уже готов был вернуться к себе. Но тут ему припомнилась просьба Гармонии, он представил себе, как она будет недовольна, если он вернется без золота. И, не обращая внимания на голос нимфы, – а была это опять Паллада-Афина, – он решительно направился к пещере.

Там, на влажном дне, белели полуистлевшие кости убитого змея; он точно смеялся своими беззубыми челюстями, плотно прижимая к земле свое золото. Кадму стоило большого труда освободить сокровище из-под его исполинской пасти; ему показалось, что, отрываясь, он еще раз прошипел проклятье на отнимаемый у него клад.

Золото – это было роскошное ожерелье – досталось Кадму; но он сам не был рад своему богатству. Недоброе чуяло его сердце. И действительно, в доме он нашел плач и отчаяние: как раз перед его приходом туда внесли тело его единственного сына Полидора, убитого на охоте клыком свирепого вепря.

Прошло некоторое время, пока он решился показать свое сокровище жене. Но и она не обрадовалась ему. «Мне уже не до украшений», – сказала она. И, подойдя к своей старшей дочери, Семеле, она обвила своим ожерельем ее полную, прекрасную шею. Улыбнулась Семела: «Вот будет на меня любоваться Зевс, – сказала она про себя, – увидев на своей избраннице такую несказанную красоту!»

У каждой из четырех царевен был свой терем: Семелин занимал крайний выступ дворца и имел свой собственный вход. И вот царевна слышит, что кто-то стучится в ее двери. Открывает и видит – перед ней ее старая няня, уже давно живущая в дальнем хуторе. Обрадовалась ей Семела, вводит к себе, показывает свое новое украшение. Старушка как-то странно улыбается: «Хороша-то ты, хороша, дитячко; жаль только, что все еще незамужем». Вспыхнула царевна: «Никакого мужа мне не надо!» И рассказывает ей, что к ней ежедневно спускается с небесных высот сам Зевс в образе прекрасного молодого человека и что он живет с ней как с женой и любит гораздо больше, чем свою божественную супругу, владычицу Олимпа Геру. Еще страннее улыбается старушка. «Хорошо, коли правда, – говорит она, – но что, если этот молодой человек – обыкновенный молодой человек и если он обманывает тебя, выдавая себя за Зевса?» – «Этого быть не может!» – «Я и не говорю, что это так; но почему бы тебе не испытать его?» – «Каким образом?» – «А вот каким: когда он опять к тебе придет, возьми с него клятву, что он исполнит твое желание – а затем потребуй, чтобы он явился к тебе в своем божественном величье, каким он является своей божественной супруге Гере». Семела призадумалась: и в самом деле, почему бы его не испытать? Ей самой обидным показалось, что Зевс никогда не показывается ей в своем настоящем виде.

Она не знала, что мнимая старушка была не кто иная, как сама Гера, пришедшая погубить земную избранницу своего небесного супруга. Неласково встретила Семела своего высокого гостя. «Зачем так нахмурилась? Иль недовольна?» – «Да, недовольна». – «Скажи, чем!» – «А ты исполнишь то, чего я пожелаю?» – «Исполню». – «Поклянись». – «Клянусь!» – «Стань передо мной, как ты показываешься Гере!» Вздрогнул Зевс: «Несчастливая! Возьми назад свое неразумное желание!» Но Семела настаивала на своем – и Зевс покинул ее.

И тотчас небо заволочло страшными грозowymi тучами; земля окуталась мраком, точно ночь настала среди бела дня. Поднялся неистовый ураган; глухой рев стоял над Кадмеей, деревья ломались, черепицы срывались с кровель. Семела стояла у открытого ставня, ни живая ни мертвая от страха. Вдруг раздался оглушительный грохот, все небо мгновенно озарилось пламенем – и она увидела перед собой того, кого она любила, но увидела в ризе из огня, со всепалющим перуном в руке. Одно мгновенье – и она пала к его ногам, вся охваченная жаром молнии; еще мгновенье – и ее тело рассыпалось раскаленным пеплом, и на месте, куда она упала, лежал младенец дивной красоты. Зевс схватил его и исчез, оставляя терем добычею всепожирющего огня.

Терем догорел и обрушился; убитому горем Кадму, когда он его посетил в сопровождении своей второй дочери Агавы, так и не удалось найти останки своей старшей. «Она – святая, – сказал он Агаве, – перунница Зевса, освященная прикосновением его молнии». – «Она – великая грешница, – угрюмо ответила Агава, – похвалялась, что Зевс удостоил ее супружеского общения с ней – в наказание за ее похвальбу он и убил ее!» Она и среди сестер и в народе распустила эту молву. В сущности, она была довольна постигшим старшую сестру несчастьем; теперь, думала она, престол перейдет к ней и ее сыну Пенфею. Правда, после смерти Полидора у его вдовы тоже родился сын, но этот несчастный мальчик, вспоенный безутешным горем своей матери, был хромым – почему его и назвали Лабдаком – и царем быть не мог. Как наследница своей сестры, Агава взяла себе и ее золотое ожерелье, найденное в золе терема, не подозревая, что она вместе с ним переносит на себя и несчастье прежней его владелицы.

Мужем Агавы был Эхион, один из пяти «спартов»; остальные, как уже было сказано, женились на местных нимфах. Одним из них был Удей; его жену, нимфу Харикло, особенно возлюбила покровительница Кадма Паллада и всюду брала ее с собой. И вот случилось однажды, что молодой сын Удея, Тиресий, в жаркий летний день охотился в лесах горы Киферона, недалеко от Кадмеи. Преследуя зверя, он поднялся на холм, с которого открывался вид на прекрасную зеленую лужайку с прозрачным прудом посредине; а в пруде как раз купалась его мать Харикло и с ней – богиня. Не вынесли смертные очи вида неприкрытой божественной красоты: Ти-ресий ослеп. Громко заголосила его мать; но помочь горю нельзя было. Чтобы ее утешить, Паллада наградила ее сына долгою жизнью и даром провидения. Тиресий стал первым пророком, которого познала Греция; ему открылся смысл голосов природы и неисповедимая воля владыки Олимпа.

И прошло еще около двадцати лет.

Согбенный старостью Кадм действительно передал свою власть своему внуку Пенфею; отца юноши уже не было в живых, и рядом с ним стояла, как бы в сане царицы, его гордая мать, Агава. Но едва успел он укрепить свою власть, как божественное внушенье тронуло сердце Тиресия, – и стал он проповедовать нового бога Вакха-Диониса, сына Зевса и Семелы. Он открыл людям значение таинственного брака его родителей; Зевс жил в разладе с Матерью-Землей, вырвав человечество из-под власти ее законов, в которой оно раньше пребывало вместе с прочими животными, и поведя его по пути умственного развития. Но на этом пути нет душевного мира; и вот ради него Зевс и родил примирителя – Диониса. Он был вскормлен далеко, среди нимф Зев-совой горы; теперь он возвращается в родной город своей матери и несет ему драгоценный дар – свои таинства, а с ними и мир с Матерью-Землей. Он кликнет клич – и сбегутся его поклонники, вакханты и вакханки, на святые поляны своих родных гор,

чтобы там хоть в течение нескольких дней жить по законам Матери-Земли; они будут ночевать на зеленой мураве, а дни проводить в веселых хороводах, под звуки безумящей музыки – тимпанов, кимвалов и флейт. Охватит их неистовый восторг, им покажется, что душа их отделяется от их тела и живет своей собственной неопишимо блаженной жизнью – и они познают, что эта их душа самобытна и неразрушима, что она не погибнет, когда распадется их тело. И чудесная благодать снизойдет от бога на его вакхантов и вакханок: одетые в олени шкуры с тирсом вместо оружия, они станут неуязвимы и для природы и для людей. А кормить и поить будет их сама Мать-Земля, даруя им молоко, мед, вино, где и сколько они пожелают...

Так проповедовал Тиресий; но не тронула его проповедь сердца гордой Агавы и ее не менее гордого сына. Она продолжала твердить, что никакого бога Диониса нет, что Семела выдумала повесть о своем браке с Зевсом, за что и была убита его молнией. Тогда Дионис решил сам вступить за свою мать и за себя. Приняв на себя образ молодого волхва, он своим прикосновением привел в исступление Агаву, ее сестер и всех женщин Кадмеи; с дикими криками они умчались на святые поляны Киферона и там подневольными вакханками стали слушать новому богу. Разгневался Пенфей и велел изловить мнимого волхва; Дионис охотно дал себя привести к нему, чтобы кротким убеждением подействовать на его строптивую душу. «Друг мой, – сказал он ему, – еще есть возможность все устроить к лучшему». Он обещал ему сам вернуть вакханок; но Пенфей был непримирим. Он отказывался уверовать в Диониса и решил предать мнимого волхва лютой казни, а вакханок силой оружия увести с Киферона. Тогда Дионис и его заразил безумием: думая, что он идет на разведки, он дал себя переодеть женщиной и в этом виде проводить на святую поляну. Там все еще в грозном безумии священнодействовали вакханки. Пенфея они не узнали, не узнали вообще человека в нем; кто-то крикнул, что перед ними дикий зверь – и они, принимая его за льва, всей толпой бросились на него. Тщетны были его мольбы: в одно мгновение он был ими растерзан, и Агава, воткнув его голову на свой тирс, вернулась с нею в город, перед всеми похваляясь, что она убила свирепого льва и несет его голову.

В городе она застала Кадма; под его любовной лаской она пришла в себя и поняла, как она разрушила свою жизнь. После такого преступления дочерям Кадма уже нельзя было оставаться в основанном им городе: Агава и Автоноя погибли на чужбине, Ино отправилась в соседний город Орхомен и вышла замуж за тамошнего царя Афананта. Кадм и Гармония тоже покинули город; но впоследствии боги перенесли их на острова блаженных, где они продолжали жить в вечной юности, не зная ни забот, ни горя.

3. Антиопа

Как вы могли уже заметить, эллины этих древнейших времен еще не представляли себе своих богов чисто духовными существами, как они это делали позднее или как мы теперь представляем себе нашего христианского Бога. Нет, для них боги были вроде людей, с такими же страстями, только гораздо могущественнее, прекраснее и совершеннее... Они не только жили между собой в супружестве и имели детей – бог мог и со смертной жить как муж с женой и приживать детей от нее. Греческие цари любили производить свой род от брака бога, чаще всего Зевса, со смертной женщиной; о таких браках поэтому возникло много преданий. С одним из них я и познакомлю вас теперь.

Дворец Кадма опустел после ухода его и его семьи. Правда, в одном его отделении продолжал жить Лабдак, увечный телом и немощный духом; он даже, как царевич, приискал себе жену и имел от нее малютку-сына, позднейшего царя Лаия. Но управлять страной он не мог.

Этим воспользовались два смелых выходца из соседнего острова Евбеи, два брата, Лик и Никтей: перебравшись с вооруженной ратью в Беотию, они завладели ею; Лик основался в Кадмее, а брату предоставил землю у подножья Киферона, орошаемую рекой Асопом.

И вот опять раздался восторженный клич Диониса; опять поляны и рощи Киферона запестрели от ликующей свиты благодатного бога – сатиров, вакханок. Много тут было молодых красавиц, но не было прекраснее Антиопы, стройной дочери Никтея. Сам Зевс пленился ее красотой; уподобившись сатиру, он предстал перед ней в одну из шумных ночей дионисического праздника и, увел ее в уединенную пастушью хижину святой горы. Там они жили вместе как муж с женой; хорошо было Антиопе под лаской любящего бога, волшебным сном казалось ей это время его любви. Но сон кончился, и она осталась одна с двумя младенцами-близнецами на руках. Тут отчаяние овладело ею; она бросила своих детей, вернулась к своему отцу, Никтею, – и застала его уже на смертном одре. Он проклял свою беглянку-дочь и поручил своему брату Лику совершить кару над ней.

Лик увел Антиопу к себе в Кадмею и отдал ее на рабскую службу своей жене, Дирцею, тогдашней царице, унаследовавшей вместе с престолом Агавы ее роковое золотое ожерелье. Дирцея поразила красотой своей рабы; она стала бояться, как бы ее муж, прельстившись этой красотой, не сделал бы ее своей царицей вместо нее, Дирцеи. И стала она к ней вдвойне жестока: держала взаперти, принуждала к тяжелой работе, словом, всячески старалась извести ее ненавистную ей красоту. Так пришлось Антиопе долгим страданием искупить свое кратковременное счастье в пастушьей хижине Киферона. Да, долгим: оно длилось около двадцати лет.

И снова раздался восторженный клич Диониса; вместе с прочими женщинами Кадмеи и Дирцея умчалась на Киферон. Но и в унылый затвор Антиопы проникли ликующие крики новых вакханок: эвоэ, эвоэ! И она внезапно почувствовала себя вакханкой: чудесная сила влилась в ее жилы. Она разорвала веревки, которыми она была скручена, вышибла двери своей темницы, бежала с быстротой ветра туда, на Киферон. Поляны, рощи, знакомые места... а вот и хижина, в которой она провела такие счастливые дни. Не войти ли? Входит, видит – двое молодых людей дивной красоты, один – пастух, другой – охотник. Просит у них убежища, рассказывает про свои несчастья; один как будто тронут, но другой непреклонен: «Все это выдумки, – говорит он ей строго, – а беглых рабынь мы принимать не вольны: с нас же взыщут».

Вдруг врывается толпа вакханок, впереди всех царица Дирцея и ее подруга, молоденькая нимфа Фива. «А, вот ты где! Ну, погоди, заплатишь за свой побег». И приказывает обоим юношам увести беглянку вместе с ней. «Что ты хочешь с ней делать?» – спрашивает Фива. – «Казнить». – «Как казнить?» – «Велю ее привязать к рогам дикого быка и затем пустить: натешится вволю новым бегом!» Тщетно уговаривала ее нимфа: одержимая безумием царица-вакханка оставалась глуха к ее увещаниям.

«Нет, – подумала Фива, – этого допустить нельзя». Оставив исступленную, она бросилась искать помощи. Видит – навстречу ей старый пастух; рассказывает ему обо всем. Слушает старик, дивится, соображает – и вдруг вздрагивает, точно пораженный новой, страшной мыслью. «Скорей, – говорит, – веди меня к ним, пока еще не поздно». Бегут вместе на верхний склон Киферона, видят: стоит жестокая Дирцея, дикий бык уже приведен, и оба юноши привязывают к его рогам несчастную Антиопу. «Амфион, Зет! – кричит им старик. – Что вы делаете? Вы собираетесь замучить вашу родную мать!»

Все остолбенели; у самой Дирцеи подкосились ноги. «Как? – спросил Зет. – Разве не ты наш отец? И не твоя покойная жена наша мать?» И старик рассказал им все: как он их нашел в покинутой хижине, как он уже раньше по молве людей подозревал, что они царской породы, а теперь после рассказа Фивы окончательно догадался обо всем. Радость наполнила сердца юношей, но вместе с тем и ужас: ведь они едва не стали матереубийцами! А ужас перешел в ярость: не помня себя, они бросились к Дирцею и ее самое привязали к рогам быка. Понесся исполинский зверь вниз по валунам и бурелому и скоро исчез: все слабее становились крики его жертвы и наконец умолкли совсем.

По понятиям тех древнейших времен такая кара считалась справедливой: каково преступление, таково и наказание, по строгому закону возмездия. Но Дирцея была царицей; что-то скажет ее муж, неласковый Лик? Действительно, он скоро явился – и за женой и за беглянкой. И дело дошло бы до нового кровопролития; но Зевс его не допустил. По его приказанию Гермес, его божественный вестник, явился на Киферон и примирил спорящих. Не надо новой крови; всему виной проклятие старинного змея. Пусть же останки растерзанной царицы будут брошены в его родник, который и унаследует ее имя и будет на все времена называться Дирцеей; пусть Лик спокойно уйдет в свою родную Евбею, а власть над Кадмеей предоставит обоим юношам, чудесным сыновьям Зевса и Антиопы.

4. Ниобея

Начались счастливые времена. Из обоих юношей один, Амфион, был тих и мечтателен, другой, Зет, – деятелен и ретив; они постановили поэтому, чтобы первый правил в мире, второй – на войне. Амфион всех очаровывал своей игрой на лире: не только люди, но даже звери, даже деревья, даже камни чувствовали ее волшебную силу. А под Кадмеей к тому времени вырос большой посад: необходимо было и его окружить стеной. Но для этого, рассказывают, не понадобилось ни каменщиков, ни плотников: Амфион играл – и камни следовали его зову, сами собою слагались в стену; Амфион играл – и сосны срывались со своих корней и, смыкаясь брусьями, образовывали тяжелые ворота. Семеро таких ворот, по числу струн своей лиры, устроил Амфион: оттого-то город и получил прозвище «семивратного». Назвали его братья в честь своей спасительницы Фивами; старое имя Кадмеи осталось за кремлем.

Пришлось братьям подумать о невестах. Зет быстро решил этот вопрос: он женился на Фиве, сказав себе, что лучшей жены ему не найти. Что с ними дальше случилось, мы не знаем. Но Амфион узнал, что далеко за морем, в богатой Лидии, у ее царя Тантала есть дочь неописуемой красоты по имени Ниобея; он решил к ней присвататься. Собственно, это было безумием: ему ли, царю маленького греческого городка, было мечтать о такой невесте! А Ниобея была не только самой богатой царевной во всей этой части света: ее отец, Тантал, был любимцем богов, и сама она пользовалась дружбой одной из богинь – Латоны. Но Амфион надеялся на волшебную силу своей лиры – и не ошибся. Ниобея, сначала высокомерно встретившая этого никому не известного царя каких-то Фив, была тронута его игрой и радостно последовала за ним в его нероскошное царство.

Нероскошное, да; но все же в нем было одно сокровище, подобного которому не имелось даже в казне царя Тантала – ожерелье Гармонии. Правда, на нем тяготело проклятие старинного змея; но Амфион надеялся, что он был уже умиловивлен телом растерзанной жены Лика, и не пожелал отказать своей молодой жене в единственном драгоценном подарке, который она могла от него получить. Как бы то ни было, Ниобея одела ожерелье Гармонии; уже раньше прекрасная, она показалась в нем вдвое прекраснее; но вместе с ним ее обуяла и гордость Агавы и Дирцеи.

Прошло много лет, полных самого безоблачного счастья. Сами боги, казалось, благословили Ниобею свыше всякой меры: семь могучих сыновей, семь красавиц-дочерей родила она своему мужу. Ее же красота не только не увядала, но еще расцветала; и кто видел ее окруженную этой толпой детей, тому она казалась уже не смертной, а прямо богиней.

Но вот исполнилось время великого пришествия: вторично раздался в Фивах пророческий голос уже состарившегося Тиресия: «Радуйтесь, смертные! Дело обновления, начатое Дионисом, завершается теперь. Зевс тронул богиню Латону лучами своей любви; на блуждающем острове Делосе родила она двух божественных близнецов, Аполлона и Артемиду. Артемиде отец даровал власть над лесами и над зверем лесным: она его оберегает, и ей должны молиться охотники, чтобы безнаказанно вынести из леса свою добычу. Аполлону же лук и

стрелыгодились для другого великого дела: он отправился на Парнасе, сразил вешего змея Пифона и принял от Матери-Земли ее чудесное знание. Отныне Аполлон пророчествует на Парнассе в святой ограде Дельфов; и он всеведущ, и через него его отец, владыка Зевс. И не будет конца его царству, как не будет и разлада между ним и Матерью-Землей.

Есть Зевс, был он и будет: воистину молвлю, велик Зевс!

Зиждет плоды вам Земля; величайте же матью Землю! Я возвещаю вам время великого пришествия: сооружайте алтари, воскуряйте фимиам, закалывайте жертвы в честь божественных близнецов, Аполлона и Артемиды, и их благословенной матери, Латоны!»

И народ высыпал на улицы, послушный пророческому зову; быстро выросли алтари, благовонный туман фимиама вознесся к небесам, жертвенная кровь полилась струями, и благоговейные песни огласили город. Но одна душа осталась чужда всеобщей радости; это была душа гордой царицы Ниобеи. Как? В честь ее бывшей подруги Латоны воздвигают алтари? За что? За то, что она двоих детей родила? Двоих – велика заслуга! Она, Ниобея, не двоих, а две седмицы подарила своей новой родине! Не помня себя от гнева, она позвала свою свиту и быстро спустилась с кремля к ликующему народу.

Ее появление расстроило благоговейную радость толпы; песни умолкли, все ждали, что скажет царица. «Безумные, ослепленные! – крикнула она. – Стоит ли воздвигать алтари какой-то матери двух жалких близнецов? Уж если кому, то мне их надлежит воздвигать, мне, окруженной таким роскошным цветом прекрасных и могучих детей!» И, не дожидаясь ответа толпы, она своим царским посохом опрокинула ближайший, наскоро возведенный из дерна алтарь.

Народ обомлел; никто не решался последовать дерзновенному примеру, но никто не отважился прекословить гневной царице, которую все привыкли слушаться. Наступило гробовое молчание. И вот послышался сначала тихий, потом все громче и громче протяжный, раздирающий плач; он доносился со стороны того здания – палестры, – в котором сыновья Ниобеи упражнялись в беге, борьбе и других приличествующих их возрасту играх. Все громче и громче – и вот стали приносить их самих, одного за другим, от старшего, юноши с русым пухом на щеках, до младшего, нежного мальчика, за которым, убиваясь, следовал его верный пестун. Все были бездыханны; у каждого зияла рана в груди, и из раны, окруженная запекшейся кровью, выдавалась стрела – золотая стрела.

Крик пронесся по толпе: «Это Аполлон их погубил! Аполлон на них выместил кощунство их гордой матери!» И все вернулись к алтарям; опять поднялись благовонные облака фимиама, опять послышались песни, но песни жалобные, умоляющие: «Аполлон! Помилуй нас, Аполлон!»

Ниобея, пораженная своим горем, уже не возражала толпе; мрачно понурив голову, она медленным шагом последовала за теми, которые несли ее сыновей к ее дворцу в Кадмее. Прошли через царские ворота, положили убитых на мураву внутреннего двора. Растворились двери женской хоромы, выбежали юные сестры, бросились с громким плачем обнимать то того, то другого из дорогих покойников. «Что случилось? Кто их убил?» – «Аполлон их убил!» – ответили жалобные голоса. – «Нет! – строго сказала старшая из свиты. – Ваша мать их убила своим нечестивым высокомерием».

Эти слова заставили очнуться погруженную в грустное раздумье царицу. Она подняла голову, окинула взором дочерей, обряжавших своих убитых братьев: в своем горе они были еще прекраснее, чем раньше в своей радости. Опять гордая улыбка заиграла на ее бледных губах. «О, не ликуй, жестокая! – крикнула она, угрожающе подняв правую руку к небесам. – Я все еще благословенная мать в сравнении с тобой. После стольких смертей я все еще побеждаю!»

Прозвучало слово и умолкло – и все умолкли. Тишина – жуткая, зловещая тишина. Вдруг послышался странный свист – и вслед за тем одна из девушек со стоном упала на грудь рас-

простертого у ее ног брата. За ней вторая, третья, еще другие. Осталась одна, младшая, совсем еще девочка; с громким криком бросилась она к матери. Тут уже всякая гордость оставила царицу; она обвила своим плащом свое последнее дитя: «О, пощади! – взмолилась она. – Хоть одну, хоть эту меньшую мне оставь!» Но было поздно; сверкнула золотая стрела – и головка и нежные руки беспомощно свесились с бездыханного тела.

И опять воцарилось молчание – и этот раз надолго. Ниобея застыла в немом горе, склонившись над телом своей девочки; и из остальных никто не хотел звуком или движеньем нарушить гробовую тишину – не хотел, а вскоре и не мог. Все застыли. Застыл и Амфион, когда он, вернувшись, увидел, во что превратился его недавно еще цветущий дом.

Прошло несколько дней. Никто из фиванцев не решался навестить царство смерти... Тела убитых лежали, каждое с золотой стрелой в пронзенной груди, и окружали их не люди, нет, а каменные подобию людей.

И снова, как в славный день подвига Кадма, разверзлись небеса, снова с них спустились боги, на этот раз для печального дела, чтобы придать земле обе седмицы Ниобеиных детей. Гробницу окружили телами скорбящих – только Ниобею Зевс приказал отделить от тех, кого она убила своим греховным высокомерием. Западный ветер, Зефир, обхватил ее своими могучими руками и унес обратно в Лидию. Там она поныне стоит каменным изваянием на горе Сипиле: ее рот раскрыт, как бы для жалобы, и вечная влага росится из ее недвижных очей.

5. Дельфы

Суровый урок, данный фиванцам и всем прочим смертным гибелью дома Амфиона, научил их не возвышаться горделиво над земной долей, не равнять себя с богами.

Гнушаться спеси – такова была важнейшая наука от Аполлона людям, ее неустанно твердили им певцы, которых он, владыка золотой кифары, вдохновлял к песнопению: «познай самого себя», «избегай излишества», «лучшее – мера». И он охотнее прибегал к кифаре, чем к луку.

Но он не удовольствовался одним только общим советом; он хотел, чтобы каждый человек в трудную минуту своей жизни мог найти у него наставление и руководство. Для этого он основал свое прорицалище над той пещерой Парнасса, в которой он убил вещего змея Земли; имя этому прорицалищу – Дельфы.

Южнее Беотии и ее соседок, между этими местностями так называемой Средней Греции и южным полуостровом, которому позднее было дано имя Пелопоннеса, извивается прекрасной голубой лентой залив, называемый Коринфским по имени господствующего над ним города – города, с которым нам не раз придется иметь дело. Северный берег этого залива, в свою очередь, прорезан заливчиками; самый глубокий из них упирается в высокую гору, двуглавая вершина которой почти всегда окутана облаками; это и есть Парнасе. Взойдя немного наверх по его южному склону, мы имеем перед собой две отвесные мрачные скалы, между которыми прорезал себе путь ручей чистой, как хрусталь, и холодной воды; это – Кастальский ручей. Теперь все это место покрыто развалинами; в древнегреческую эпоху здесь стоял величавый храм, окруженный другими храмами и целым лесом статуй и иных памятников; но к тому времени, о котором мы говорим теперь, там не было еще ни храмов, ни кумиров, а только глубокая пещера, скрывающая тлеющие кости змея Пифона. Это и были Дельфы.

Храмов тогда вообще еще в Греции не было; Аполлон подал первый пример. По его мановенью из его земного рая, страны «гиперборейцев», чудесные пчелы принесли слепленный из воска образец храма: поддерживаемый их крыльями, он реял в воздухе, не опускаясь на землю. По этому образцу и был выстроен в Дельфах первый храм; когда это было сделано, те же пчелы унесли свой восковой обратно к гиперборейцам. А в подражание дельфийскому

храму возникли и те многие другие, в убранстве их колонн, которые украсили кремли, площади, дороги и мысы Эллады.

В определенные дни стекались в Дельфы паломники, желающие спросить бога. Они подходили к храму, извилистая дорога к которому с течением времени была убрана множеством храмов, сокровищниц, статуй и т. д.; перед самым храмом стоял алтарь. Здесь приносились установленная жертва. Затем к паломникам приходил священнослужитель; они бросали жребий о порядке, в котором они будут допущены к богу.

Пока это происходило, пророчица Пифия – так она называлась по имени вещего змея Пифона – вступала во внутреннюю часть храма, в его «святая святых», недоступную для прочих людей. Она садилась на треножник; ее окружало вещее дыхание Земли, она впадала в забытие. Вот ее слуха касался вопрос паломника из уст стоящего перед ее затвором, но все еще в храме жреца. Слова проникали в сокровенную глубь ее сознания и вызывали ответ, внушенный ей не разумом – она, погруженная в дремотное забытие, ничего не соображала, – а таинственной вещью силой, которою ее наполнял бог. Ответ вылетал из ее уст в отрывистых, бессвязных словах; стоявший перед затвором жрец слушал их, записывал, вносил в них связь и порядок – и в этом виде объявлял паломнику.

Но не для одних только вещаний – оракулов, как мы называем их латинским словом – сходились паломники в Дельфы; их привлекала и сама служба богу, светлая и радостная. Бог, как уже было сказано, вдохновлял золотой кифарой многочисленных певцов; не было числа гимнам, сочиненным в его честь. Исполняли их хоры – и мальчиков, и юношей, и взрослых; а вместе с Аполлоном чествовали и сестру его Артемиду, и звонко раздавались под утесами Парнасса песни дев во славу ее. Но и храм стоил того, чтобы им любоваться, и лавровая роща перед ним, и все прочее, чем благоговение паломников и искусство ваятелей и зодчих украсило священную дорогу и всю местность. Мы теперь стоим перед развалинами и горюем о разрушении этой дивной, невозвратной красоты.

Взлелеянный любовью и благоговением всей Эллады, храм Аполлона в Дельфах становился с каждым десятилетием украшеннее и богаче – и в возрастающей мере возбуждал зависть соседних фокидских и локридских городов. Соблазн был для них велик наложить руку на его сокровища; правда, то было бы святотатством, но долго ли человек убоится святотатства, если его все сильнее и сильнее будет обольщать корысть? Чтобы надежнее охранять этот предмет все-эллинского уважения, окружающие Дельфы и Фокиду народы – так называемые амфикиони – образовали союз, посвященный именно его охране; этот союз назывался (дельфийской) амфикионией. Выборные их представители собирались ежегодно; если храм считал себя так или иначе обиженным, то он излагал свою жалобу этим представителям, и они решали, следует ли, и если да, то в какой мере, дать ему удовлетворение. Так как за амфикионией стояла военная сила вошедших в ее состав государств, то ее приговор имел очень важное значение, и обидчики ему большею частью подчинялись, не доводя дела до войны; такие войны, называвшиеся «священными», были большою редкостью – за всю жизнь независимой Эллады таковых возникло всего-навсего четыре.

Образовавшие амфикионию государства считались состоявшими под особой благодатью бога; было поэтому вдвойне нежелательно, чтобы они между собой ссорились, объявляли друг другу войну. Но так как это было все-таки возможно, то старались, по крайней мере, чтобы такие войны, возникавшие между членами амфикионии, были обставлены более гуманными условиями, чем обычные. Эти условия были приняты в клятву амфикионов. Так, они брали на себя обязательство, воюя с городом – членом амфикионии, не отводить протекающей через него реки, после победы не разрушать его и т. д.

Как видите, в дельфийской амфикионии впервые зародилось сознание того, что ныне называется «международным правом» – сознание, что нельзя считать дозволенными все средства, лишь только бы они вели к победе, что воюющие должны ради божьей правды налагать

На себя известные ограничения, хотя бы и сопряженные с утратой некоторых военных преимуществ. И если бы тогдашние амфикионы могли предвидеть, как теперь цивилизованные народы относятся во время войны к постановлениям ими же одобренного международного права – они бы с полным основанием решили, что, несмотря на развитие своей техники, на свои телеграфы, телефоны и прочие чудесные изобретения, эти мнящие себя цивилизованными народы все-таки остались «варварскими».

Летние месяцы были посвящены Аполлону, в зимние его сменял Дионис. И его приютила святая гора его брата. Правда, о храме он не заботился – мы уже знаем, его излюбленным местопребыванием были поляны и рощи диких гор. Таковые находились и на верхнем склоне Парнасса перед пещерой «корикийских» нимф. Сюда созывал Дионис своих поклонников – вакхантов, но более вакханок. Они стекались со всей Греции, чтобы здесь в честь бога кружиться в ночных хороводах, одетые в олени шкуры (небриды) поверх своих платьев, увенчанные плющом и с шаловливыми тирсами в руках. Гремела музыка, мчались хороводы, сотни факелов освещали нагорную поляну; завидит багровое их зарево пловец, рассекающий волны Коринфского залива, и скажет про себя, молитвенно подняв правую руку: «Привет вам, блаженные! Испросит для нашей Эллады милость благословенного бога!» А по миновании священнодействий вакханки возвращаются каждая к себе и рассказывают домашним о чудесах, которых их удостоил Дионис.

Эти собрания вакханок на Парнассе происходили и в более поздние столетия, когда уже прекратились вакхические пляски на Кифероне и других горах. Но мы еще не покидаем царства сказки; мало того, мы возвращаемся к године гибели дома Кадма в Кадмее. Младшею его дочерью, как мы видели, была Инб; он выдал ее за Афаманта, царившего в соседнем с Фивами городе Орхомене. Посмотрим же, какова была ее судьба.

6. Золотой. Овен

В дни своей смелой молодости орхоменский царь Афамант пленил своей красотой бессмертную нимфу, небесную Нефелу, то есть Тучу. Прислонив свою воздушную ладью к груди возвышавшегося над городом утеса, она спустилась к нему, вошла в его дворец и провела с ним несколько лет. Но странницам-тучам не велено вечно жить на одном месте: стосковалась Нефела по своему небесному приволью, по бушующим бурям и гневным грозам. Взошла она на свой утес, отцепила свою воздушную ладью и поплыла по синеве эфира.

А в доме Афаманта два детских голоса звали свою исчезнувшую матушку; это были мальчик Фрикс и цветок-девочка, златокудрая Гелла (helle). Закручинился и сам царь – но делать было нечего. Оставить дом без хозяйки, царство без царицы тоже было нельзя. Это было как раз в то время, когда царевна Инб, младшая дочь Кадма, изгнанная из Кадмеи, пришла искать у него убежища. Недолго думая, он предложил ей быть его женой – она согласилась. Старцы его совета укоризненно качали головой: не к добру это, подумали. С тех пор и пошла гулять поговорка: «От богини – смертную, как Афамант».

Легче стало дышаться Инб после киферонских ужасов: муж ее любил, сорхоменцами она ладила – вот только пасынки ей досаждали. Ее ненависть к ним еще усилилась, когда она сама стала матерью двух мальчиков, Леарха и Меликерта. Это были мальчики как мальчики: здоровые, румяные – но все же им было далеко до сына богини, красавца Фрикса. Черной тучей свешивались его волосы на белоснежное чело, пламенем молний пылали его глаза; нет, куда было до него ее детям! Она решила его известить; но как? Народ боготворил молодого царевича; он побьет ее камнями, если она против него что-нибудь предпримет. Она это знала; нет, думает, убить я тебя убью, но только не своей рукой... Кто-то ей подсказал эту греховную мысль? Не иначе, как страшный Аластор, дух гибели дома Кадмидов.

Незадолго перед тем Деметра, божественная сестра Зевса, научила людей хлебопашеству; как и почему, это вы прочтете в другом рассказе. Как это естественно, народ у своих царей узнавал законы новой науки: орхоменцы в амбары Афаманта приносили урожай своих полей и от него получали требуемое для их обсеменения и для собственного пропитания. Не столько, впрочем, от него, сколько от царицы, которая всегда старалась поставить себя на место своего слабовольного супруга. На этом Инб и построила свой нечестивый план. Когда народ пришел к ней за зерном для посева, она дала ему требуемое, но это были не свежие, всхожие, а сушеные, мертвые семена.

Хлеб, разумеется, не уродился; нивы если и позеленели, то от чертополоха и других сорных трав. Что было делать? Весть о чудесном оракуле в Дельфах быстро проникла в соседний Орхомен: «Спросим Аполлона о причине божьего гнева!» Царица улыбнулась: «Конечно, спросим». Она послала для виду гонца в Дельфы, но сама заранее дала ему ответ, так что бога нечего было и беспокоить. Ответ же гласил: «Вы искупляете грех Нефелы, покинувшей небесные пути для недозволенного сожительства со смертным; и гнев божий прекратится не раньше, чем вы принесете Зевсу в жертву ее сына, царевича Фрикса».

Стон пронесся по рядам собравшегося народа, когда ответ был ему прочитан; но с божьим гневом шутить было нельзя. Стали требовать от царя, чтобы он исполнил мнимое слово Аполлона; тот, слабавольный и слабоумный, покорился; Инб, разумеется, и подавно не возражала. В ближайшее полнолуние должен был свершиться страшный обряд – заклятие человека, мальчика, на алтаре бога.

Гелла не отходила от своего обреченного брата. «Матушка, где ты? – взывала она. – Матушка, помоги своим покинутым детям!» Но Фрикс уныло опустил голову: «Как она нам поможет? Не нарушит бедная нимфа воли Зевса и слова Аполлона».

Но что это? По чистой лазури неба плывет золотая тучка, спускается все ниже и ниже; да, это она, их желанная мать! Она сходит, и за ней сходит невиданное чудо – великан-овен о золотом руне. «Воли Зевса и слова Аполлона я нарушить бы не могла, но здесь действуют не они, а обман вашей мачехи... Доверьтесь этому овну, но крепко держитесь за его руно. Обет же, данный Зевсу, должен быть исполнен: куда овен вас спасет, там принесите его в жертву Зевсу». Она поцеловала своих детей, оставила им овна, а сама умчалась на своей воздушной ладье.

Немедля Фрикс и Гелла расположились на широкой спине овна; тот быстро побежал к морю, омывающему северный берег Беотии, затем между ней и Евбеей, между Евбеей и Андросом и дальше, все дальше по открытому морю. Плывут, плывут – Фрикс держится крепко, но Гелла уже слабеет. Слава богам, вот виден материк. Гелла рада, сейчас можно будет сойти на сушу – нет, открывается внезапно пролив, и овен круто сворачивает туда. Гелла вскрикивает и соскальзывает в голубую пучину. Мгновенно она поглотила ее; Фрикса, прежде чем он мог опомниться, овен умчал дальше. А пролив, в котором утонула Гелла, был по ее имени назван Геллеспонтотом (Hellespontos), то есть «морем Геллы».

Опять море – Пропонтида; и опять пролив – Босфор; в его конце две синие скалы, смыкающиеся и расступающиеся: они гибельны для кораблей, но овен быстро пронес между ними своего седока... А там бесконечную гладью расстилается новое море, то, которое позднее называли Понтом Евксинским, то есть Гостеприимным, а мы называем Черным. И еще ряд дней длится томительная езда; но вот уже несомненный конец. Берег, скалы, леса – мрачная, жуткая обстановка.

Фрикс исполнил приказание своей матери, принес своего спасителя в жертву владыке Зевсу и, взяв с собою руно, дал себя отвести к царю – царем же был Ээт, сын Солнца, а его страну звали Колхидой. Жадно сверкнули глаза варвара, когда он увидел в руках у гостя драгоценный дар. Он принял его с честью и, не имея сыновей, женил его на своей старшей дочери Халкиопе. Младшая тогда была девочкой; звали ее Медеей...

7. Левкофея

Оставим, однако, нашего беглеца в Колхиде и вернемся на его родину. Волнение народа, вызванное исчезновением детей Нефелы, мало-помалу улеглось, особенно когда следующий посев дал обычный урожай. Инб тоже успокоилась; так или иначе, а ненавистные пасынки были устранены; теперь, думала она, мои сыновья унаследуют власть над Орхоменом. И когда опять раздался клич с Парнасса – клич, зовущий вакханок в хороводы на святую поляну, – она, не посещавшая их праздников со времени киферонских ужасов, уступила соблазну. Пошла Инб на Парнасе, пошла – и не вернулась.

Стали подтрунивать: вот и вторая жена у него сбежала! Ну что ж, говорили другие, надо ему найти третью. Афама́нт, окончательно впавший в слабоумие, не прекословил. Жених он был не особенно привлекательный, но тем привлекательнее было орхоменское царство. Охотница нашлась: это была опять царевна по имени Фемисто. Была она не добрее своей предшественницы, но далеко не так умна; и когда у нее родились собственные дети, один за другим два мальчика, – она возненавидела своих пасынков так же искренно, как некогда их мать – детей Нефелы. . . Но ненависть так и осталась ненавистью: она бы и не прочь их извести, да не знала, как взяться за дело.

Но вот однажды, когда Афама́нт, выйдя погулять в поле, грелся на бугорке под лучами весеннего солнца, он заметил странницу, с трудом пробирающуюся по дельфийской дороге. Одета она была в рубище, опиралась на посох, но бледное лицо ее еще сохраняло следы прежней красоты. Подошла она к Афама́нту и остановилась; грустная улыбка скользнула по ее губам: «Узнаешь?» – Афама́нт в ужасе отпрянул: «Инб, ты ли это? И как тебя отпустила царица теней?» Но нет, она была жива. От вакханок она тогда отстала; схватили ее разбойники, увели, продали в рабство; ей наконец удалось бежать – и вот она вернулась. Афама́нту стало не легче; как же быть? Двух жен зараз греческий закон не разрешает. Инб его внимательно выслушала; ни жалоб, ни упреков она не произнесла, одна только презрительная улыбка изредка играла на ее губах. «Рабой была там, рабой буду и здесь, – сказала она, – отведи меня домой и скажи своей новой царице, что ты купил меня у проезжавшего мимо работорговца».

Афама́нт исполнил ее поручение. Фемисто сначала не обратила внимания на неказистую рабу; но эта раба так хорошо умела ей во всем угождать и в то же время обнаружила столько знания и умения в хозяйстве, что та скоро без нее обойтись не могла. Сама же она так успела измениться и подурнеть за годы своей рабской службы, что не только челядь, но и собственные дети ее не могли узнать.

Не успело пройти и трех месяцев, как она стала самой близкой поверенной недалекой царицы и в действительности по-прежнему управляла всем домом. И вот однажды Фемисто открыла ей свое сокровенное желание – желание извести своих пасынков. Улыбнулась Инб. «О, если бы ты знала, – подумала она, – как я с тобою схожусь!» И опять Аластор шепнул ей преступное слово: убить, да, убить, только не своей рукой. Царице же она ответила: «Нет ничего проще». – «Но как?» – «Ты их ночью зарежешь». – «А дальше?» – «Бросим их трупы в старый, заросший водоем». – «А челядь?» – «Мы ее пошлем на всенощный праздник Трофония (местного божества)». – «А царь?» Инб презрительно махнула рукой. «Но что скажет народ?» – «Скажет, что они бежали на золотом овне; это здесь водится».

Настал праздник Трофония; челядь ушла, только царица да Инб остались во дворце. «Слушай, – начала Инб, подавая царице взятый в царевой спальне меч, – ты знаешь, где постели твоих детей и где постели пасынков. Чтобы ты не могла ошибиться, я покрыла детей белой, а пасынков черной овечьей шкурой». Фемисто, вся дрожащая, приняла данный меч и вошла в детскую. . . Инб проводила ее насмешливой улыбкой; нечего говорить, что она и детей, укла-

дывая их, переложила, и с одеялами поступила как раз наоборот, а светильник поставила в таком отдалении от постелей, чтобы лиц нельзя было различить.

Стоит Инб у дверей детской, прислушивается: сначала все тихо, еле слышны шаги. Видно, подкрадывается. Опять все тихо. Вдруг стон, хрипение – и снова тишина. Дело, значит, сделано; сейчас выйдет. Нет, не выходит. Инб смотрит сквозь щелку. Стоит у постельки, шатается, бросается к светильнику, с ним опять к постельке... Раздирающий крик; светильник падает, гаснет, черный мрак кругом. Еще один крик, последний – и опять глубокая тишина.

Когда Инб, схватив факел, горевший в женской хороме, вошла в детскую, ее взорам представилась царица, лежащая в луже крови у постельки с мечом в груди, а на постельке – бездыханные тела ее детей с перерезанным горлом.

Инб попробовала улыбнуться: «Тем лучше, и она с ними; теперь дом чист. И главное, не я же их убила». Но улыбнуться ей не удалось. И вообще она более ни улыбаться, ни смеяться не могла. Про страшную пещеру Трофония говорили, что кто туда спустился, тот уже не смеется никогда. Инб не бывала в пещере Трофония, но и она более ни смеяться, ни улыбаться не могла.

Народ равнодушно отнесся к происшедшему; ну что ж, царица в безумии убила детей и покончила с собой – ее никто не любил и не жалел. Инб могла бы смело открыться и челяди, и народу; но она не торопилась. Хозяйство, царство – ничто ее не прельщало. Отчего в самом деле ей уже ни улыбаться, ни смеяться нельзя? Бывало, забудется – и тотчас перед глазами багровый свет и в нем два детских трупика с перерезанным горлом. И на странных мыслях ловила она себя иногда: «О, если бы я могла, как прежде, жить в доме Афаманта, ничего не совершив из содеянного мной!» И сама она удивлялась этим мыслям: откуда они? И что за новая сила вселилась в нее?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.